

Цицерон

У. Лукас Коллинз

Cicero

W. Lucas Collins



Project Gutenberg

Электронная книга Цицерона проекта Гутенберга

Эта электронная книга предназначена для использования любым человеком в любой точке Соединенных Штатов и большинства других частей мира бесплатно и практически без каких-либо ограничений. Вы можете скопировать его, раздать или повторно использовать в соответствии с условиями лицензии Project Gutenberg, прилагаемой к этой книге, или онлайн по адресу www.gutenberg.org. Если вы находитесь за пределами Соединенных Штатов, вам необходимо ознакомиться с законами страны, в которой вы находитесь, прежде чем использовать эту электронную книгу.

Название: Цицерон

Автор: У. Лукас Коллинз

Дата выхода: 1 марта 2004 г. [Электронная книга № 11448]

Последнее обновление: 28 октября 2024 г.

Язык: Английский

Титры: Продюсеры: Стэн Гудман, Тед Гарвин, Лазарь Ливяну и корректоры PG Distributed

*** НАЧАЛО ПРОЕКТА ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ ГУТЕНБЕРГА "ЦИЦЕРОН" ***

Древняя классика для английских читателей

отредактировано

ПРЕПОДОБНЫЙ У. ЛУКАС КОЛЛИНЗ, магистр медицины

ЦИЦЕРОН

от преподобного У. ЛУКАСА КОЛЛИНЗА, магистра медицины.

АВТОР КНИГ "ИТОНИАНА", "ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ШКОЛЫ" И ДР.

Я должен признать свои обязательства перед хорошо известной "Жизнью Цицерона" мистера Форсайта, особенно в качестве руководства по биографическим материалам, которыми изобилуют его Речи и письма. Научные тома мистера Лонга также были признаны полезными. За переводы, в том виде, в каком они есть, несу ответственность я. Если бы я мог встретить какой-нибудь, который показался бы мне более удовлетворительным, я бы с радостью взял его на вооружение.

W.L.C.

Содержание.

I. БИОГРАФИЧЕСКИЙ —РАННЯЯ ЖИЗНЬ И ОБРАЗОВАНИЕ,
II. ОБЩЕСТВЕННАЯ КАРЬЕРА—ИМПИЧМЕНТ ВЕРРЕСА,
III. КОНСУЛЬСТВО И КАТИЛИНА,
IV. ИЗГНАНИЕ И ВОЗВРАЩЕНИЕ,
Против ЦИЦЕРОНА И ЦЕЗАРЯ,

VI. ЦИЦЕРОН И АНТОНИЙ,
VII. ПЕРСОНАЖ КАК ПОЛИТИК И ОРАТОР,
VIII. ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ,
IX. ПЕРЕПИСКА ЦИЦЕРОНА,
X. ОЧЕРКИ О "СТАРОСТИ" И "ДРУЖБЕ",
XI. ФИЛОСОФИЯ ЦИЦЕРОНА,
XII. РЕЛИГИЯ ЦИЦЕРОНА.

ЦИЦЕРОН.

ГЛАВА I.

РАННЯЯ ЖИЗНЬ И ОБРАЗОВАНИЕ.

Когда мы говорим языком нашего титульного листа о "Древней классике", мы должны помнить, что слово "древний" следует понимать со значительной разницей в одном смысле. Древними являются все греческие и римские авторы, датируемые сравнительно с нашей современной эпохой. Но что касается античного характера их произведений, то часто существует разница, которая заключается не только в дате. Поэзия Гомера и Гесиода древняя, поскольку ее пели и писали, когда общество, в котором жили авторы и к которому они обращались, находилось в сравнительном зачаточном состоянии. Хроники Геродота древни отчасти по своему предмету, отчасти по своему примитивному стилю. Но в этом смысле есть древние авторы, принадлежащие к каждому народу, у которого есть своя литература. Рассматриваемая в этом свете история Фукидида, письма и речи Цицерона вовсе не являются древними. Беда, и Чосер, и Матфей Парижский, и Фруассар гораздо больше отдают античностью. Все несколько книг, составляющих то, что мы называем Библией, несомненно, древние; но даже между Хрониками израильских царей и Посланиями Святого Павла существует гораздо больший реальный промежуток, чем просто промежуток веков.

С одной стороны, времена Цицерона, несмотря на их сложную политику, должны представлять больший интерес для современного читателя, чем большая часть того, что называется Древней историей. Забудьте на мгновение о дате, и в них едва ли найдется что-то древнее. Сцены и актеры современны - ужасно современны; гораздо современнее, чем средневековые христианского мира. Например, между временами наших собственных Плантагенетов и Жоржа существует гораздо больший разрыв во всем, кроме лет, чем между консульствами Цезаря и Наполеона. Привычки жизни, образ мыслей, семейные привязанности, вкусы римлян времен Цицерона во многих отношениях были удивительно похожи на наши собственные; политическая зависть и соперничество повторялись снова и снова в последние два-три столетия существования Европы: их кодекс политической чести и морали, каким бы униженным он ни был, был ненамного ниже того, которого придерживались некоторые великие государственные деятели за поколение или два до нас. Будем благодарны, если бы самым страшным из их пороков был исключительный позор язычества.

Марк Туллий Цицерон родился за сто шесть лет до христианской эры в старом, но скромном загородном доме недалеко от городка Арпинум, под вольскими холмами. Семья имела древнее "всадническое" [1] достоинство, но поскольку ни один из ее членов до сих пор не занимал никаких государственных должностей, она не считалась "благородной". Его дед и отец носили одни и те же имена — последнее досталось им в наследство от какого-то забытого предка,

который либо преуспел в выращивании вики (*цицер*), либо, как гласят менее лестные предания, имел бородавку такой формы на носу. Дедушка был еще жив, когда родился маленький Цицерон; стойкий старый консерватор, который успешно сопротивлялся попытке ввести голосование бюллетенями в своем родном городе и ненавидел греков (которые как раз тогда входили в моду) так же горячо, как его английский представитель пятьдесят лет назад мог бы ненавидеть француза. "Чем больше человек знал греческий, - протестовал он, - тем большим негодяем он оказывался". Отец был человеком спокойных привычек, не принимавшим участия даже в местной политике, увлеченный книгами и расширением и благоустройством старого семейного дома, который до его времени, по-видимому, был не более чем скромной усадьбой. Обстановка (на маленьком острове, образованном маленькой рекой Фибрен [2]) была прекрасной и романтической; и любовь к ней, которая росла у юного Цицерона в детстве, он никогда не терял в напряженные дни своей зрелости. По его словам, это было в его глазах тем же, чем Итака была для Улисса,

"Суровая, дикая кормилица, но посева которой - люди".

[Примечание 1: *Всадниками* первоначально были те, кто служил в римской кавалерии; но в последнее время к классу стали причислять всех граждан, которые имели определенный имущественный ценз и могли доказать свободное происхождение вплоть до своего деда.]

[Примечание 2: Теперь известен как Il Fiume della Posta. Считается, что фрагменты виллы Цицерона были обнаружены встроенными в стены заброшенного монастыря Сан-Доминико. Руины, известные как "Башня Цицерона", вероятно, не имеют к нему никакого отношения.]

В этой цитате была уместность, ибо в Арпине за несколько лет до этого родился Гай Марий, семикратный консул Рима, в котором были, по крайней мере, мужественные добродетели, если не сказать больше.

Но тихий сельский джентльмен был честолобив в отношении своего сына. Отец Цицерона, как и отец Горация, был полон решимости дать ему лучшее образование, какое только было в его силах; и, конечно, лучшее образование можно было найти в Риме, а лучшими учителями там были греки. Итак, в свое время юный Марк был доставлен в Рим вместе со своим младшим братом Квинтом. Они поселились у своего дяди, Акулео, довольно известного юриста, у которого был дом в довольно фешенебельном квартале города и который вращался в хорошем обществе; и оба мальчика посещали лекции по греческому языку со своими городскими кузенами. В те дни греческий был такой же необходимой частью образования римского джентльмена, как латынь и французский у нас сейчас; как и латынь, он был ключом к литературе (ибо, следует помнить, у римлян еще не было ничего, что стоило бы назвать их собственной литературой); и, как и французский, это был язык утонченности и игры утонченного общества. Будем надеяться, что к этому времени старый добрый дедушка мирно покоился в своей урне; возможно, у него разбилось бы сердце, если бы он увидел, с каким энтузиазмом его внук Марк погрузился в это новомодное исследование; а одно из тех писем его зрелых лет, напищенное греческими терминами и оборотами вплоть до жеманства, вызвало бы у старого джентльмена что угодно, только не благословение, если бы он дожился до того, чтобы услышать их чтение.

Юный Цицерон прошел обычную учебную программу — грамматику, риторику, изучал греческих поэтов и историков. Подобно многим другим юным гениям, он написал немало собственных стихов, о которых его друзья, что было естественно, в то время очень высокого мнения, и о

которых он сам сохранил такое же хорошее мнение до конца своей жизни, что было бы естественно для немногих людей, кроме Цицерона. Но его более важные исследования начались после того, как он надел "белую мантию", которая ознаменовала переход молодого римлянина из юношеского возраста в более ответственную жизнь — в шестнадцатилетнем возрасте. Затем он поступил на специальное обучение в адвокатуру. Это едва ли можно было назвать профессией, поскольку адвокатская практика в Риме была бесплатной; но это была лучшая подготовка к общественной жизни; для способного и красноречивого человека это было готовое средство завоевать то народное влияние, которое со временем обеспечило бы ему избрание на высшие должности, составлявшие последовательные ступени к политической власти. Способ изучения права в Риме имел очень большое сходство с подготовкой к поступлению в английскую коллегия адвокатов. Наш современный студент-юрист покупает себе пропуск в кабинет какого-нибудь специального судебного представителя, где он должен изучать свое будущее дело, копируя прецеденты и отвечая на дела, а также посещает публичные лекции в Судебных гостиницах. Итак, в Риме молодого претендента можно было найти (но в гораздо более ранний час, чем это подобало Темплу или Линкольнс-Инн) в открытом зале Дома какого-нибудь крупного юриста, выслушивающим свои мнения, высказываемые перед толпой клиентов, которые толпились там каждое утро; в то время как его более ревностные ученики сопровождали его на прогулках по Форуму и присутствовали при его выступлениях в судах или речах с трибуны, либо записывая на свои планшеты, либо сохраняя в памяти его *изречения* по юридическим вопросам. [1] Таким образом, Цицерон стал учеником Муция Сцеволы, чей дом называли "римским оракулом", — почти никогда не покидая его, как он сам выражается; а после смерти этого великого юриста почти таким же образом привязался к младшему кузену с тем же именем и едва ли меньшей репутацией. Кроме того, чтобы вооружиться всем необходимым для своей предполагаемой карьеры, он читал логику у Диодота Стоика, изучал действия Эзопа и Росция — тогда звезд римской сцены, — декламировал вслух, как Демосфен, наедине с собой, делал обширные заметки, упражнялся в переводе, чтобы выработать стиль письма, и усердно читал день и ночь. Он усердно тренировался как интеллектуальный спортсмен; и если никто из его современников не добился такого блестящего успеха, возможно, никто так усердно не добивался этого. Он также пользовался некоторыми особыми преимуществами, которые открывались перед ним и которые мало ценились или, по крайней мере, редко признавались мужчинами его времени, — обществом и беседой элегантных и образованных женщин. В домашнем кругу Сцеволы, где мать, дочери и внуки последовательно становились такими очаровательными собеседницами, что язык из их уст обретал новые грации, молодой адвокат усвоил некоторые из своих не менее ценных уроков. "Немалая разница, - сказал он в более зрелые годы, - в том, с каким стилем выражения человек знакомится в ассоциациях повседневной жизни". Это был еще один момент сходства между эпохой Цицерона и временами, в которые мы живем, — влияние "цариц общества", будь то во благо или во зло.

[Примечание 1: Эти *изречения*, или "мнения" великих юристов, приобрели своего рода юридическую силу в римских судах, подобно "делам" у нас.]

Но ни один человек в Риме не мог получить полного образования для государственной карьеры, пока не побывал солдатом. В силу того, что должно казаться нам ошибкой республиканской системы — ошибкой, которую, как мы видели, не раз допускали в конце американской войны, — высокие политические посты обязательно совмещались с военным командованием. Высший государственный министр, консул или претор, какими бы безнадежно гражданскими ни были их

вкусы и прошлое, мог быть отправлен проводить кампанию в Италии или за границу за несколько часов до объявления. Если человек был рожденным на небесах генералом, все шло хорошо; если нет, у него обычно был шанс поучиться в школе поражений. Во всяком случае, было желательно, чтобы он в юности увидел, что такое война. Юный Цицерон провел свою первую кампанию в возрасте восемнадцати лет под командованием отца человека, которого ему предстояло слишком хорошо знать в последующей жизни, — Помпея Великого, — и в подразделении армии, которым командовал Сулла в качестве генерал-лейтенанта. Он носил оружие всего год или два и, вероятно, не видел особо тяжелой службы, иначе мы наверняка узнали бы об этом от него самого; и он никогда больше не был в лагере, пока тридцать семь лет спустя не принял главное командование в качестве проконсула в Киликии. Он был в Риме, ведя тихую студенческую жизнь - к счастью для себя, слишком молодой, чтобы его можно было заставить или соблазнить принять активное участие — во время кровавой распри между Силлой и младшим Марием.

Кажется, он впервые выступил в качестве адвоката, когда ему было около двадцати пяти, по какому-то делу, о котором мы ничего не знаем. Два года спустя он впервые выступил в защиту заключенного по обвинению в смертной казни и добился своим красноречием оправдания Секста Росция по обвинению в убийстве своего отца. Обвинение, по-видимому, было простым заговором, совершенно не подкрепленным доказательствами; но обвинитель был любимцем Суллы, чья власть была почти абсолютной; и невиновность обвиняемого была весьма недостаточной защитой перед римским судом присяжных тех дней. Какие соображения, помимо существа дела и риторики адвоката, обычно влияли на эти трибуналы, мы увидим ниже. Вследствие этого решительного успеха на молодого защитника почти слишком быстро поступили судебные иски. Как и многим другим успешным ораторам, ему приходилось бороться с некоторыми природными недостатками; он унаследовал от своего отца несколько хрупкое телосложение; его легкие не были мощными, а голос требовал тщательного управления; а громкое декламирование и неистовые действия, которые он перенял у своих моделей и которые были необходимыми условиями успеха на большой арене, где должен был выступать римский адвокат, давались ему очень тяжело. Он на некоторое время покинул Рим и удалился отдохнуть и переодеться в Афины.

Шесть месяцев, которые он провел там, несмотря на занятость и прилежание, должно быть, были очень приятными. Для такого человека, как Цицерон, Афины были одновременно классической и святой землей. Он объединил в себе все те ассоциации и достопримечательности, которые мы могли бы сейчас ожидать найти при посещении столиц Греции и Италии и паломничестве в Иерусалим. Поэзия, риторика, философия, религия — все, по его мнению, имело там свою колыбель. Это был дом всего, что для него было литературой; и там же находились великие элевсинские мистерии - которые все еще остаются мистериями, но под их покровом скрывалась та вера в Невидимое и Вечное, которая покоилась в уме просвещенного язычника. Не может быть никаких сомнений в том, что Цицерон воспользовался этой возможностью посвящения. Его брат Квинт и один из его двоюродных братьев были с ним в Афинах; и в этом городе он также возобновил свое знакомство со старым школьным товарищем, Титом Помпонием, который так долго прожил в городе и стал настолько основательным афинянином в своих вкусах и привычках, что он больше известен нам, как и своим современникам, под фамилией Аттик, которую дали ему полушутя, чем под его более звучным римским именем. Именно случайному обстоятельству, что Аттик так долго оставался добровольным изгнанником из Рима, и переписке, которая поддерживалась между двумя

друзьями с небольшими перерывами на протяжении примерно двадцати четырех лет, мы обязаны более глубоким пониманием характера Цицерона, чем кому-либо другому из великих умов древности; до нас дошло почти четыреста его писем к Аттику, написанных со всем знакомым доверием частной дружбы человеком, ни в коей мере не скрывающим своих личных чувств. Ответы Аттика утеряны; говорят, что после несчастной смерти своего друга он был достаточно благоразумен, чтобы забрать их обратно и уничтожить. В его случае они, возможно, рассказали бы нам не так уж много из того, что нам хотелось бы знать сверх того, что мы уже знаем. Богатый, роскошный, с элегантными вкусами и легкой моралью — истинный эпикурейец, каким он себя называл, — Аттик, тем не менее, обладал добрым сердцем и открытой рукой. Его обычно называли эгоистичным, несколько несправедливо; по крайней мере, его эгоизм никогда не принимал формы безразличия или недоброжелательности к другим. В каком-то смысле он был более истинным философом, чем Цицерон: ибо он, по-видимому, всю жизнь руководствовался максимой Сократа, которую его друг якобы одобрял, но которой, конечно, никогда не следовал, — что "мудрый человек держится подальше от общественных дел". Его призванием, конечно, не был патриотизм; но житейская мудрость, которая хорошо сочеталась с людьми всех политических мастей и сторонилась гнусных интриг и кровавых междоусобиц Рима, не составляет неблагоприятного контраста с поведением многих из *ее так называемых* патриотов. Если он сам отказывался встать на чью-либо сторону, люди всех партий прибегали к нему в своих невзгодах; и человек, который подружился с Марием-младшим в его изгнании, защитил вдову Антония, дал приют в своих поместьях жертвам проскрипций триумvirата и всегда был готов предложить своему другу Цицерону и свой дом, и свой кошелек, когда политический горизонт вокруг него омрачался, — этот человек, несомненно, был таким же хорошим гражданином, как самый шумный призывник к "свободе" на форуме или самая проворная рука с кинжалом. Он сохранил свою жизнь и имущество в безопасности все эти годы опасностей и проскрипций, пожертвовав меньшими принципами, чем многие из тех, кто громко заявлял о себе, и умер — странным актом добровольного голодания, чтобы побыстрее справиться с неизлечимой болезнью — в зрелом возрасте; безбожный эпикурейец, без сомнения, но не худший из них.

Мы должны вернуться к Цицерону и вкратце остановиться на следующих нескольких годах его жизни. Он продлил свое зарубежное турне на два года, посетив главные города Малой Азии, ненадолго задержавшись на Родосе, чтобы еще раз взять уроки у своего старого наставника ритора Молона, и повсюду слушал лекции самых известных греческих профессоров, чтобы исправить и усовершенствовать свой собственный стиль сочинения и изложения. Вскоре после своего возвращения в Рим он женился. О характере его жены Теренции высказывались самые разные мнения. Похоже, она очень любезно писала ему во время его долгих вынужденных отлучек. Ее письма до нас не дошли, но во всех ответах ее мужа она упоминается с выражением, по-видимому, самой искренней привязанности. Он постоянно называет ее своей "дорогой" — "усладой его очей", "лучшей из матерей"; и все же он добился от нее развода без какой-либо внятной причины после тридцатилетней супружеской жизни, в течение которой мы не находим никаких следов какого-либо серьезного семейного несчастья. Обвинения в ее честности, сделанные Плутархом и повторяемые другими, кажутся совершенно беспочвенными; и собственное участие Цицерона в сделке не улучшается тем фактом, что он при первой возможности взял другую жену — свою собственную подопечную, почти девочку, с которой он не прожил и года, прежде чем второй развод освободил его. Говорят, что Теренция также обладала властным характером; но единственным основанием для этого утверждения, по-

видимому, было то, что она время от времени ссорилась со своей невесткой Помпонией, сестрой Аттика и женой Квинта Цицерона; и поскольку Помпония, по словам ее собственного брата, очень неприятно проявляла свой характер по отношению к мужу, вражда между дамами, скорее всего, была ее виной, чем Теренции. Но очень низкое представление о брачных отношениях, которого придерживались как позднейшие греки, так и римляне, помогает пролить некоторый свет на процесс, который в противном случае казался бы очень загадочным. Теренция, как довольно ясно из намеков в письмах ее мужа, не была хорошим управляющим в денежных вопросах; есть основания подозревать, что она даже не была честной в его отсутствие и "зарабатывала кошелек" для себя; таким образом, она не соответствовала одному из двух единственных качеств, которые, согласно Демосфену — авторитету, занимавшему очень высокое положение в глазах Цицерона, — были необходимы жене: быть "верной хранительницей дома" и "плодотворной матерью". Она умерла не от разрыва сердца; она дожила до 104 лет и, по словам Диона Кассия, имела еще трех мужей. В Риме разводы были достаточно легкими, и если бы дама была богатой вдовой, в этой последней части истории, возможно, не было бы ничего столь невероятного, хотя на момент первого развода ей было пятьдесят лет. [1]

[Примечание 1: Катон, который является любимым олицетворением всех моральных добродетелей своего времени, развелся со своей женой — чтобы угодить другу!]

ГЛАВА II.

ОБЩЕСТВЕННАЯ КАРЬЕРА.—ИМПИЧМЕНТ ВЕРРЕСУ.

Растущая репутация блестящего и успешного защитника, а также общественное влияние, которое это принесло с собой, обеспечили быструю преемственность Цицерона на высших государственных должностях. Вскоре после женитьбы он был избран квестором — первая ступенька на служебной лестнице, - что, поскольку он уже обладал необходимым имущественным цензом, давало ему пожизненное место в Сенате. Впоследствии последовали эдилатство и преторство, каждое настолько рано, по возрасту, насколько это было возможно по закону. [1] Его адвокатская практика не прерывалась, за исключением того, что в качестве квестора он провел год на Сицилии. Претор, который был назначен в правительство этой провинции [2], имел в своем подчинении двух квесторов, которые были своего рода контролерами казначейства; а Цицерон был назначен в западный округ со штаб-квартирой в Лилибее. Руководя там своим офисом, он показал себя основательным деловым человеком. В тот год в Риме был дефицит зерна, и Сицилия была великой житницей империи. Энергичные меры, предпринятые новым квестором, полностью соответствовали чрезвычайной ситуации. Он был либеральнее по отношению к арендаторам штата, вежлив и доступен для всех, честен в управлении и, прежде всего, держал руки чистыми от взяток и казнокрадства. Провинциалы были столь же удивлены, сколь и обрадованы, ибо Рим не имел обыкновения посылать к ним таких офицеров. Они придумали для него такие почести, каких никогда прежде не удостоивался ни один министр.

[Примечание 1: Квесторы (которых в то время было двадцать) действовали при Сенате в качестве государственных казначеев. Консула или другое должностное лицо, командовавшее войсками во время кампании, сопровождал один из них в качестве главного казначея.

Эдилы, которых было четверо, заботились обо всех общественных зданиях, рынках, дорогах и государственной собственности в целом. Они также руководили национальными празднествами и общественными играми.

Обязанности преторов, которых было восемь, носили в основном судебный характер. Двое старших, которых называли соответственно "Городской" и "Иностранный", примерно соответствовали нашим министрам внутренних дел и иностранных дел. Все это были постепенные шаги к должности консула.]

[Примечание 2: Провинции Рима по их отношению к метрополии Италии лучше всего сравнить с нашим собственным правительством Индии или такими колониями нашей короны, в которых нет представительного собрания. У каждого из них был свой губернатор или вице-губернатор, который, должно быть, был бывшим министром Рима: человек, который был консулом, ушел в отставку в звании "проконсула", а тот, кто был претором в звании "про-претора". Они занимали свои посты в течение одного или двух лет и имели власть над жизнью и смертью в пределах своей соответствующей юрисдикции. Под их началом находился один или несколько должностных лиц, носивших титул квестора, которые собирали налоги и осуществляли общее управление доходами провинции. Провинциями в это время были Сицилия, Сардиния с Корсикой, Испания и Галлия (каждая в двух частях); Греция, разделенная на Македонию и Ахайю (Морею); Азия, Сирия, Киликия, Вифиния, Кипр и Африка в четырех частях. Другие были добавлены позже, при Империи.]

Неудивительно, что голова молодого чиновника (ему было немногим больше тридцати) была несколько вскружена. "Я думал, — сказал он впоследствии в одной из своих речей, представляя со спокойным юмором и всем мастерством опытного оратора один из тех личных анекдотов, которые облегчают длинную речь, — я думал в глубине души, в то время, что люди в Риме, должно быть, говорили только о моем квесторстве". И далее он рассказывает своей аудитории, как он не был введен в заблуждение.

"Народ Сицилии придумал для меня беспрецедентные почести. Итак, я покинул остров в состоянии великого восторга, думая, что римский народ сразу же предложит мне все, чего я не прошу. Но когда я покидал свою провинцию и направлялся домой, мне случилось высадиться в Путеолах как раз в то время, когда многие из наших самых светских людей привыкли бывать в этом районе. Я чуть не упал в обморок, джентльмены, когда один человек спросил меня, в какой день я покинул Рим и есть ли какие-нибудь волнующие новости? Когда я ответил, что возвращаюсь из своей провинции— "О! да, конечно, - сказал он. - Полагаю, из Африки?" "Нет", - сказал я ему, изрядно раздосадованный и испытывающий отвращение. - "из Сицилии". Затем кто-то другой с видом человека, который все об этом знает, сказал ему— "Что? разве вы не знаете, что он был квестором в *Сиракузах*?" [Это было в Лилибее — совсем другом районе.] Нет нужды раздувать из этого длинную историю; я проглотил свое негодование и сделал вид, что я, как и все остальные, пришел сюда за водой. Но я не уверен, джентльмены, не принесла ли мне эта сцена больше пользы, чем если бы все тогда и там публично поздравили меня. Ибо после того, как я таким образом узнал, что у жителей Рима несколько глухие уши, но очень зоркие и зоркие глаза, я перестал размышлять о том, что люди услышат обо мне; я позаботился о том, чтобы отныне они видели меня перед собой каждый день: я жил на виду у них, я держался поближе к Форуму; привратник у моих ворот никому не отказывал в пропуске — сам мой сон никогда не мог служить оправданием против публики ". [1]

[Сноска 1: Защита Планция, с. 26, 27.]

Разве мы не говорили, что Цицерон был современным, а не древним? Разве мы здесь не оригинал того кембриджского философа-старшеклассника, который, случайно войдя в лондонский театр в один момент с королем, раскланивался со всех сторон с довольным смущением, думая, что публика встала и приветствовала его?

Именно в то время, когда он занимал должность эдила, он впервые выступил в качестве государственного обвинителя и привлек к ответственности самого важного преступника того времени. Веррес, покойный претор Сицилии, был обвинен в тяжких преступлениях и проступках в своем правительстве. Грандиозный масштаб его преступлений и всепоглощающий интерес судебного процесса привели к тому, что его дело цитируется как очевидная параллель с делом Уоррена Гастингса, хотя и с большой несправедливостью по отношению к последнему, поскольку может показаться, что это подразумевает какое-либо сравнение моральных качеств. Этот Веррес, продажный сын продажного отца, за время своего трехлетнего правления причинил несчастной провинции все зло, какое только могли причинить тирания и алчность. Он нашел его процветающим и довольным: он оставил его измученным и страдающим от причиненных ему обид. Теперь он встретил свой импичмент со значительной уверенностью. Достижений первого года его пребывания в должности было достаточно, по его словам, для него самого; второго - для его друзей; третьего принесло более чем достаточно, чтобы подкупить присяжных.

Судебные процессы в Риме проходили на Форуме — открытом пространстве площадью почти в пять акров, лежащем между Капитолийским и Палатинским холмами. Это была городская рыночная площадь, но это было также и место, где население собиралось на любое общественное собрание, политическое или иное — где праздный горожанин прогуливался, чтобы встретиться со своими друзьями и послушать дневные сплетни, и где деловой человек назначал свои встречи. Суды для отправления правосудия — великолепные залы, называемые *базиликами*, — к этому времени были возведены с северной и южной сторон, и в них происходили обычные судебные процессы; но для государственных процессов открытая площадка сама по себе была судом. Один конец обширной площади был приподнят на несколько более высокий уровень — своего рода помост большого масштаба - и отделялся от остальных Рострой, своего рода сценой, с которой выступали ораторы. Именно здесь проводились судебные процессы. Временный трибунал для председательствующего с помещениями для адвокатов, свидетелей и присяжных был возведен под открытым небом; и сцену, возможно, лучше всего можно представить, представив главную площадь в каком-нибудь большом городе, оборудованную открытыми массовыми беспорядками для старомодных выборов в графстве, ни в коем случае не исключая сильного народного волнения и насилия толпы, характерных для таких случаев. Храмы богов и другие общественные здания возвышались над окрестностями, и на ступеньках их в любое время большого волнения толпились те, кому не терпелось хотя бы увидеть, если не услышать.

Верреса, как государственного преступника, будут судить специальной комиссией и жюри присяжных, состоящим в то время исключительно из представителей сената, выбираемых по жребию (с ограниченным правом отвода, предоставляемым обеим сторонам) из коллегии, ежегодно назначаемой претором. Этот магистрат, который был чем-то вроде министра юстиции, обычно председательствовал в таких случаях, занимая курульное кресло, что было

одной из хорошо известных привилегий высокого поста в Риме. Но его должность была скорее должностью современного председателя, который следит за порядком на публичном собрании, чем должностью судьи. Судьи в нашем понимании этого слова не было; присяжные были судьями как закона, так и фактов. Короче говоря, они были признанными заседателями претора, в руках которого, как предполагалось, находилось отправление правосудия. Закон также носил весьма гибкий характер, и адвокаты апеллировали скорее к страстям и чувствам присяжных, чем к юридическим аспектам дела. Сам Цицерон придавал сравнительно мало значения этой отрасли своей профессии; "Как бы я ни был занят, - говорит он в одной из своих речей, - я мог бы стать достаточным юристом за три дня". Присяжные отдали каждый свой голос путем голосования — "виновен", "невиновен" или (как в шотландских судах) "не доказано", - и большинство вынесло вердикт.

Но такие судебные процессы, как над Верресом, гораздо больше походили на импичмент в Палате общин, чем на спокойное судебное расследование. Люди, которым предстояло бы судить обвиняемого его класса, в очень немногих случаях были бы честными и беспристрастными взвешивателями доказательств. Их большое количество (от пятидесяти до семидесяти) ослабляло чувство личной ответственности и делало их более открытыми для обращения адвокатов к их политическим страстям. Большинство из них предстали бы перед судом, в той или иной степени ущемленными интересами партии; многие были бы горячими приверженцами. Цицерон в своем трактате "Ораторское искусство" четко объясняет адвокату природу судов, в которые ему приходилось обращаться. "На вердикты людей гораздо больше влияют предубеждение или благосклонность, или жажда наживы, или гнев, или негодование, или удовольствие, или надежда, или страх, или неправильное понимание, или какое-то возбуждение их чувств, чем факты дела, или установленные прецеденты, или какие-либо правила или принципы закона или справедливости".

Верреса поддерживали некоторые из самых влиятельных семей Рима. Казнокрадство со стороны губернаторов провинций стало почти общепризнанным принципом: многие из тех, кто занимал государственные должности, либо сделали, либо ожидали своей очереди сделать, почти то же самое, что и нынешний обвиняемый; и его друзья приложили все усилия, чтобы либо отложить судебный процесс на неопределенный срок, либо превратить его в фикцию, добившись назначения его личного друга и креатуры государственным обвинителем. С другой стороны, сицилийские семьи, которым он причинил зло и поругание, имели свою долю влияния и в Риме, и там росло недовольство наглостью и алчностью старых правящих домов, худшими качествами которых бывший губернатор Сицилии был прекрасным примером. Было много причин, которые побудили бы Цицерона энергично взяться за такое дело. Это было большим открытием для него в том, что мы можем назвать его профессией: его прежние связи с правительством Сицилии придали ему личный интерес к делу провинции; и, прежде всего, судебное преследование государственного преступника такой важности сразу же вывело его на передовые позиции в политической жизни. Он не жалел сил, чтобы тщательно раскрыть свое дело. Он объехал весь остров, собирая доказательства; и его прежняя популярность там сослужила ему хорошую службу в работе.

Действительно, против покойного губернатора было достаточно улик. Безрассудное удовлетворение своей алчности и своих страстей редко приносило ему удовлетворение без того, чтобы не нанести страдальцам какого-нибудь горького оскорбления. Но в этом деле была еще более ужасная особенность, которой Цицерон не преминул воспользоваться в своей

апелляции к римским присяжным. Многие из несчастных жертв имели римское избирательное право. Пытка несчастного сицилийца могла быть обращена в шутку умным защитником и воспринята философски настроенными присяжными с меньшим, чем холодное сострадание, с которым мы относимся к страданиям низших животных; но "бичевать человека, который был римлянином и не был осужден", даже в далекой провинции Иудея, была мысль, которая столетие спустя заставляла офицеров великой империи, на пике ее могущества, трепетать перед странствующим учителем, носившим презренное имя Кристиан. Вероятно, никто не может рассказать эту историю так хорошо, как сам Цицерон; и отрывок из его речи для обвинения является замечательным образцом как его силы патетического повествования, так и язвительного обличения: "Что я должен говорить о Публии Гавии, гражданине Консы? С какой силой голоса, с какой силой языка, с каким негодованием души я могу рассказать эту историю? Негодование, по крайней мере, не покинет меня: тем больше я должен стремиться к тому, чтобы в этой моей мольбе были приведены другие требования, соответствующие серьезности предмета, интенсивности моих чувств. Ибо обвинение таково, что, когда оно впервые было предъявлено мне, я и не думал им пользоваться; хотя я знал, что оно совершенно верно, я не думал, что оно будет заслуживающим доверия.— Как мне теперь поступить?— когда я уже столько часов говорил на одну тему — о его чудовищной жестокости; когда я исчерпал по другим пунктам почти все возможности языка, какие только подходят для описания преступлений этого человека; — когда я не предпринял никаких мер предосторожности, чтобы привлечь ваше внимание каким-либо разнообразием моих обвинений против него, — каким образом я могу теперь говорить по обвинению такой важности? Я думаю, что есть один путь — один курс, и только один, который мне остается выбрать. Я изложу вам факты; и они сами по себе имеют такой вес, что не нужно никакого красноречия — я не буду говорить о своем, потому что у меня его нет, — но любого другого человека, чтобы возбудить ваши чувства.

- Этот Гавий из Консы, о котором я говорю, был среди толпы римских граждан, брошенных в тюрьму при этом человеке. Каким—то образом ему удалось сбежать из Каменоломен [1] и он добрался до Мессаны; и когда он увидел Италию и башни Региума, которые были теперь так близко от него, и, избавившись от ужаса и тени смерти, почувствовал, что вдохнул новую жизнь, когда снова вдохнул свежий воздух свободы и законов, он начал говорить в Мессане и жаловаться, что его, римского гражданина, заковали в кандалы — что он направляется прямо в Рим - что он будет готов встретиться там с Верресом по его прибытии.

[Примечание 1: Это была одна из так называемых государственных тюрем в Сиракузах, построенная, как говорят, тираном Дионисием. Это были каменоломни, из которых добывали камень для строительства города, и они были переоборудованы для своего нынешнего назначения. Цицерон, который, без сомнения, видел тот, о котором идет речь, описывает его как погруженный на огромную глубину в твердую скалу. Там не было крыши, и несчастные узники подвергались там "воздействию солнца днем, дождя и мороза ночью". В этих местах были заключены уцелевшие участники неудачной афинской экспедиции против Сиракуз, и они погибли в большом количестве.]

Этот несчастный и не подозревал, что с таким же успехом он мог говорить подобным образом во дворце губернатора у него на глазах, как и в Мессане. Ибо, как я уже говорил вам, этот город он избрал для себя в качестве соучастника своих преступлений, получателя награбленного, поверенного во всех своих злодеяниях. Итак, Гавий немедленно предстал перед городскими властями; и так случилось, что в тот самый день в Мессану прибыл сам Веррес. Ему доложили об

этом случае; что есть некий римский гражданин, который жаловался на то, что его отправили в каменоломни в Сиракузах; что, когда он только что поднимался на борт корабля и изрекал угрозы — действительно, слишком жестокие — в адрес Верреса, они задержали его и держали под стражей, чтобы сам губернатор мог принять в отношении него решение, которое покажется ему благим. Веррес благодарит джентльменов и превозносит их доброжелательность и рвение к его интересам. Сам он, пылая гневом и злобой, спускается ко двору. Его глаза сверкали огнем; жестокость была написана в каждой черточке его лица. Все присутствующие с тревогой наблюдали, как далеко он намерен зайти и какие шаги предпримет; как вдруг он приказал вытащить пленника наружу, раздеть и связать на открытом форуме, а розги немедленно приготовить. Несчастный человек кричал, что он римский гражданин, что у него есть муниципальное право в Консе, что он участвовал в кампании с Луцием Претием, выдающимся римским рыцарем, который сейчас занимается бизнесом в Панорме, от которого Веррес мог убедиться в правдивости его показаний. Тогда этот человек отвечает, что он обнаружил, что он, Гавий, был послан на Сицилию в качестве шпиона главарями беглых рабов; по этому обвинению не было ни свидетелей, ни каких-либо следов, ни даже подозрений ни у кого. Затем он приказал жестоко выпороть этого человека по всему телу. Да, господа, римского гражданина изрубили розгами на открытом форуме в Мессане; и пока продолжалось наказание, ни слова, ни стоны несчастного во всей его агонии не было слышно среди звона плетей, но этот крик: "Я римский гражданин!" Таким протестом против гражданства он думал, что сможет по крайней мере спастись от чего—либо, похожего на удары, — сможет избежать унижения личной пытки. Но ему не только не удалось таким образом смягчить оскорбление, нанесенное плетью, но когда он удвоил свои мольбы и зывал к имени Рима, крест — да, я говорю, крест — был заказан для этого самого несчастного и злополучного человека, который никогда еще не видел такого злоупотребления властью губернатора.

"О имя свободы, сладостное для наших ушей! О гражданские права, которыми мы гордимся! О законы Порция и Семпрония! О привилегия трибуна, о которой долго и горько сожалели и которая, наконец, возвращена народу Рима! Неужели все дошло до того, что римский гражданин в провинции римского народа — в федеральном городе — должен быть связан и избит розгами на форуме человеком, который держит эти розги и топоры — эти ужасные эмблемы — только по милости того же самого народа Рима? Что мне сказать о том факте, что применялись огонь, раскаленные плиты и другие пытки? Даже если его мучительные мольбы и жалобные крики не остановили вас, разве вы не были тронуты слезами и стонами римских граждан, присутствовавших при этой сцене? Осмелился ли ты потащить на крест человека, который называл себя гражданином Рима?— Я не намеревался, джентльмены, в моем предыдущем выступлении настаивать на этом деле так сильно — на самом деле я этого не делал; ибо вы сами видели, как общественное мнение уже было настроено против подсудимого из-за негодования, ненависти и страха перед общей опасностью".

Затем он переходит к доказательству свидетелями фактов дела и ложности обвинения Гавиуса в том, что он был шпионом. "Однако, - продолжает он, обращаясь теперь к Верресу, - мы признаем, если вам угодно, что ваши подозрения на этот счет, пусть и ложные, были искренними".

- Вы не знали, кто этот человек; вы подозревали его в шпионаже. Я не спрашиваю об основаниях вашего подозрения. Я объявляю вам импичмент на основании ваших собственных показаний. Он сказал, что был римским гражданином. Если бы тебя самого, Веррес, схватили и

повели на казнь, скажем, в Персию или в самую дальнюю Индию, какой другой крик или протест ты мог бы поднять, кроме того, что ты римский гражданин? И если ты, чужак среди чужаков, в руках варваров, среди людей, живущих в самых отдаленных регионах земли, нашел бы защиту во имя своего города, известного во всех странах под небесами, мог ли жертва, которую ты тащил на крест, будь он кем угодно — а ты не знал, кто он такой, — когда он объявил себя гражданином Рима, мог ли он получить от тебя, римского судьи, простым упоминанием о гражданстве не только никакой отсрочки, но даже краткой отсрочки от смерти?

"Люди без ранга и богатства, скромного происхождения и положения плавают по морям; они заходят в какое-то место, которого никогда раньше не видели, где их лично не знают те, кого они посещают, и не всегда могут найти кого-либо, кто мог бы поручиться за их национальность. Но в этом единственном факте своего гражданства они чувствуют себя в безопасности не только с нашими собственными губернаторами, которых держит в узде террор законов и общественного мнения, — не только с теми, кто разделяет римское гражданство и кого объединяет с ними общность языка, законов и многого другого, — но и с теми, кто отправляется куда угодно, они думают, что это будет их надежной охраной. Лишите нас этого доверия, уничтожьте эту защиту для наших римских граждан — как только установите принцип, согласно которому слова "я гражданин Рима" не защищают, — что претор или другой магистрат может безнаказанно приговорить к любому наказанию человека, который называет себя римским гражданином, просто потому, что кто-то не знает этого точно; и сразу же, допуская такую защиту, вы закрываете от наших римских граждан все наши провинции, все иностранные государства, деспотические или независимые - короче говоря, весь мир, который когда-либо был открыт для нашего национального предприятия за пределами все".

Он снова поворачивается к Верресу.

- Но зачем говорить о Гавиусе? как будто это Гавию ты вершил личную месть, вместо того чтобы вести войну против самого имени и прав римского гражданства. Я говорю, что вы показали себя врагом не отдельного человека, а общего дела свободы. Ибо что означало то, что, когда власти Мессаны, согласно своему обычаю, хотели воздвигнуть крест за своим городом на Помпейской дороге, вы приказали установить его со стороны, обращенной к проливу? Нет, и добавил вот что — чего ты не можешь отрицать, о чем ты открыто сказал при всех, — что ты выбрал это место по той причине, что, поскольку он называл себя римским гражданином, он мог бы со своего креста наказания увидеть вдалеке свою страну и свой дом! Итак, джентльмены, этот крест был единственным, поскольку Мессана была городом, который когда-либо был воздвигнут на этом месте. Точка, с которой открывался вид на Италию, была выбрана обвиняемой по той простой причине, что умирающая страдальца в своей последней агонии могла увидеть, насколько права раба и свободного человека разделены этой узкой полоской моря; что Италия могла видеть, как ее сын страдает от смертной казни, предусмотренной только для рабов.

"Заковывать гражданина Рима в кандалы - преступление; бичевать его - зверство; предать его смерти - почти отцеубийство; что я скажу, если распну его?—В языке нет слова, которым я мог бы обозначить такую чудовищность. И все же этот человек не был доволен. "Пусть он посмотрит, - сказал он, - на свою страну; пусть он умрет на виду у свободы и законов". Это был не Гавий; это была не отдельная жертва, никому не известная, просто отдельный римский гражданин; это было общее дело свободы, общие права гражданства, которые вы там оскорбили и обрекали на позорную смерть".

Но для того, чтобы судить о волнующем действии таких отрывков на римских присяжных, их следует читать в торжественных периодах самой речи, которым, вероятно, не сможет соответствовать никакой перевод на язык, столь отличный по идиоме и ритму, как английский, от латыни. Бесплодный призыв несчастного гражданина к оскорбленному величию Рима и негодующее требование мести, которое великий оратор обосновывает этим, провозглашая общепризнанный принцип, согласно которому во всех уголках мира самый скромный странник, который может назвать себя римским гражданином, должен найти защиту во имя Рима, всегда будут помниться как предоставивший лорду Пальмерстону одну из самых ярких иллюстраций. Но эта великая речь Цицерона — возможно, самое великолепное декламационное произведение на любом языке, — хотя и была написана и дошла до нас, никогда не произносилась вслух. Все состязательные бумаги по этому делу, которые имеют некоторый объем, были составлены специально для этого случая, без сомнения, по существу, и мы должны поблагодарить Цицерона за то, что он впоследствии опубликовал их полностью. Но Веррес ждал только краткой вступительной речи своего обвинителя; он не осмелился оспорить вердикт, но, позволив приговору быть вынесенным заочно, вскоре после начала судебного процесса уехал в Марсель. Он прожил там, безмятежно наслаждаясь своей добычей, достаточно долго, чтобы увидеть падение и убийство своего великого обвинителя, но только (как говорят) для того, чтобы вскоре разделить его судьбу в качестве одной из жертв проскрипции Антония. В его виновности не может быть никаких сомнений; его страх предстать перед судом, в котором у него было много друзей, является достаточным предполагаемым доказательством этого; но мы должны колебаться, предполагая глубину его краски из ужасных оскорблений Цицерона. Ни один здравомыслящий человек не станет составлять мнение о реальных существах дела, даже в настоящее время в английском суде, исключительно на основе выступления адвоката обвинения. И если бы мы вернулись на столетие или два назад, к государственным судебным процессам тех дней, мы знали бы, что формировать нашу оценку вины заключенного только на основе таких данных было бы грубой несправедливостью к нему. Нам стоит только вспомнить восклицание самого Уоррена Гастингса, процесс над которым, как уже было сказано, во многом схож с процессом над Верресом, когда Берк сел после потока красноречия, который он обрушил на обвиняемого в своей вступительной речи обвинения: "В тот момент я считал себя, — сказал Гастингс, — самым виновным человеком в Англии".

Результатом этого судебного процесса стало немедленное выдвижение Цицерона во главе — если можно использовать столь современное выражение — римской коллегии адвокатов. До этого времени эту должность занимал Гортензий, советник Верреса, которого сам Цицерон называет "королем судов". Он был на восемь лет старше Цицерона по возрасту и намного профессиональнее, поскольку, как говорят, свою первую публичную речь он произнес в девятнадцать лет. Его преимуществом были необычайная память, музыкальный голос и богатая речь, но Цицерон более чем намекает на то, что он был не прочь подкупить присяжных. В те дни это не было более позорным, чем подкуп избирателя в нашей стране. Эти двое мужчин были очень непохожи в одном отношении; Гортензий был щеголем и утонченным (говорят, что он подал в суд на коллегу за растрепанные складки его мантии), в то время как тщеславие Цицерона было совсем другого рода. После суда над Верресом два адвоката часто выступали вместе по одному делу и на одной стороне, но Гортензий, похоже, спокойно отрекся от своего судебного суверенитета перед растущей славой своего более молодого соперника. Они стали, по крайней мере, внешне, личными друзьями. Ревность, которая, как ни странно, существовала между ними, по-видимому, всегда была на стороне Цицерона, который не мог быть убежден в

дружеских чувствах, в которых со стороны Гортензия, по-видимому, нет оснований сомневаться. Однако после смерти своего соперника Цицерон отдал должное его заслугам и красноречию и даже посвятил его памяти трактат "О славе", который был утерян.

ГЛАВА III.

КОНСУЛЬСТВО И КАТИЛИНА.

В карьере Цицерона еще не было никаких препятствий. Это был неуклонный путь к славе и успеху, честно заработанный и вполне заслуженный; и вскоре он должен был завершиться великим гражданским триумфом, который принес ему гордый титул *Pater Patriae* — Отца своей Страны. Это была фраза, которую сам оратор изобрел; и возможно, что при всем своем природном самодовольстве он, возможно, почувствовал бы себя немного неловко от комплимента, когда вспомнил, кому он изначально его сделал — тому Гаю Марию, чью смерть в своей постели в добром преклонном возрасте, после того как он был семикратным консулом, он впоследствии использует устами одного из своих воображаемых спорщиков в качестве аргумента против существования всевластного Провидения. В расцвете своей зрелости он достиг великой цели римских амбиций — фактически стал премьер-министром республики, поскольку был избран, скорее путем аккламации, чем голосования, первым из двух консулов на этот год, а его коллега Гай Антоний (опередивший третьего кандидата, печально известного Катилину, всего на несколько голосов) был человеком, который ценил свой пост главным образом за возможность наживы, и которым Цицерон знал, как управлять. Это правда, что этого высокого достоинства — столь ревностными были старые республиканские принципы единоличной власти — хватило бы всего на год; но этот год должен был стать самым богатым событиями как для Цицерона, так и для Рима. Ужасные дни Мария и Суллы прошли, оставив после себя лишь вкус к крови и распущенности среди коррумпированной аристократии и беспокойных слоев населения. Среди более молодой знати были люди, вполне готовые рисковать своими жизнями в борьбе за абсолютную власть; и толпа была готова следовать за любым лидером, который был достаточно смел, чтобы предложить наибольшую цену за их поддержку.

Здесь невозможно сделать что-либо большее, чем просто взглянуть на хорошо известную историю заговора Катилины. Это была попытка способного и отчаявшегося человека путем кровавой революции сделать себя и своих сторонников хозяевами Рима. Катилина был членом благородной, но обедневшей семьи, бравшей в руки оружие при Сулле и прошедшей раннее обучение в условиях кровопролития при этом беспринципном лидере. Цицерон описал его характер в выражениях, которые, вероятно, не являются несправедливыми, потому что портрет был нарисован им в ходе защиты своего молодого друга, который был слишком тесно связан с Катилиной, с четкой целью показать популярные качества, которые ослепили и привлекли так много молодежи Рима.

"В нем было очень много, я с трудом могу сказать, видимых признаков, но свидетельствующих о высочайших качествах. В его характере было то, что искушало его потакать наихудшим страстям, но также и то, что побуждало его к энергии и упорной работе. В нем свирепствовали необузданные аппетиты, но была также сильная любовь к действительной военной службе. Я верю, что никогда еще на земле не жило такое чудовище непоследовательности, такое сочетание противоположных вкусов и страстей, приведенных в противоречие друг с другом. Кто в свое время был большим любимцем наших самых прославленных людей? Кто был ближе к

нашим самым неизменным? Кто мог быть более жадным до денег, чем он? Кто мог бы расточать его более щедро? В этом человеке были эти замечательные качества — он завел друзей так повсеместно, он сохранил их благодаря своей услужливости, он был готов поделиться со всеми тем, что у него было, помочь им в случае нужды своими деньгами, своим влиянием, своими личными усилиями — не останавливаясь перед самым дерзким преступлением, если в этом возникала необходимость. Он мог изменить саму свою природу, управлять собой в соответствии с обстоятельствами, поворачиваться и наклоняться в любом направлении. Он жил трезво с серьезными, он был хорошим товарищем с веселыми; серьезен со старшими, весел с молодыми; безрассуден среди отчаявшихся, расточителен с развратными. Обладая столь сложной и многогранной натурой, он не только собрал вокруг себя злых и отчаянных персонажей со всех концов света, но и привлек многих храбрых и хороших людей своей имитацией добродетели. Для него было бы невозможно организовать это зверское нападение на Содружество, если бы этот свирепый рост порочных страстей не опирался на какой-то скрытый слой приятных качеств и выносливости".

Родившийся в один год с Цицероном, своим неудачливым соперником на пост консула, и ненавидевший его той непримиримой ненавистью, с какой плохой, амбициозный и способный человек ненавидит противника, превосходящего его по способностям и популярности, а также по характеру, Катилина, похоже, почувствовал, что по мере созревания его революционного заговора судьба Рима должна сделать выбор между ним и новым консулом. Он собрал вокруг себя группу распутных молодых дворян, по уши в долгах, как и он сам, и нуждающихся и беспринципных авантюристов всех классов. У него были сторонники, которые собирали и обучали для него войска в нескольких частях Италии. Программой были убийства, списание долгов, конфискация собственности: в революционных принципах так мало новизны. Первый план состоял в том, чтобы убить консулов прошлого года и захватить правительство. Он провалился из-за его собственного нетерпения. Теперь он нанял убийц против Цицерона, воспользовавшись возможностью избрания новых консулов, которые всегда проводились за некоторое время до их вступления в должность. Но заговор был раскрыт, и выборы были отложены. Когда это все-таки произошло, Цицерон появился на собрании, несколько демонстративно надев корсет из блестящей стали, чтобы показать, что он осознает грозящую ему опасность; и сторонники Катилины обнаружили, что место собрания уже занято сильным отрядом молодых граждан среднего класса, которые вооружились для защиты консула. Выборы прошли спокойно, и Катилине снова отказали. Во второй раз он попытался совершить покушение, и оно провалилось — настолько бдительной и хорошо информированной была намеченная жертва. И теперь Цицерон, возможно, пришел к сознанию, что тот или иной должен пасть; ибо в необычайно решительных мерах, которые он предпринял для подавления заговора, очень заметна смесь личной тревоги с патриотическим негодованием. По счастливой случайности весь план заговорщиков был раскрыт. Лагерь повстанцев были созданы не только в Италии, но и в Испании и Мавритании: Рим должен был быть предан огню, рабы вооружены, преступники выпущены на свободу, сторонники порядка убраны с дороги. Консул созвал заседание сената в храме Юпитера Статора, укрепленном месте на Палатинском холме, и разоблачил заговор во всех деталях, назвав даже тот самый день, когда должно было начаться восстание. Главный заговорщик имел наглость присутствовать, и Цицерон обратился к нему лично с красноречивой инвективой, которая дошла до нас как его "Первая речь против Катилины". Его целью было изгнать врага из города в лагерь его партизан и таким образом сразу же довести дело до кризиса, к которому, как он теперь чувствовал, он был готов. Он сказал, что

это ежедневное состояние общественной незащищенности и личной опасности длилось слишком долго:

Поэтому пусть эти заговорщики немедленно встанут на их сторону; пусть они отделятся от честных граждан и соберутся где-нибудь в другом месте; пусть они воздвигнут стену между нами, как я часто говорил. Давайте больше не допустим, чтобы они замыслили убийство консула в его собственном доме, наводили страх на наши суды вооруженными бандами, осаждали здание сената с обнаженными мечами, собирали свои запасы зажигательной смеси, чтобы сжечь наш город. Давайте, наконец, сможем ясно прочесть на лице каждого римлянина, верен он своей стране или нет. Я могу обещать вам вот что, господа сенаторы— со стороны ваших консулов не будет недостатка в усердии; надеюсь, у вас самих не будет недостатка в достоинстве и твердости, в духе римских рыцарей, в единодушии всех честных людей, но когда Катилина однажды уйдет от нас, все будет не только обнаружено и вынесено на свет божий, но и подавлено — да, и наказано. Под таким покровительством я прошу тебя, Катилина, продолжайте вести свою нечестивую и неосвященную войну. — продолжайте, ради спасения государства, ради вашего собственного свержения и разрушения, ради гибели всех, кто присоединился к вам в вашем великом злодействе и измене. И ты, великий Юпитер, чье поклонение Ромул основал здесь одновременно с нашим городом; — кого мы поистине называем "Опорой" [1] нашей столицы и нашей империи; ты защитишь свои собственные алтари и храмы родственных тебе богов, стены и кровли наших домов, жизни и состояния наших граждан от этого человека и его сообщников. Этих врагов всех добрых людей, захватчиков их страны, грабителей Италии, связанных воедино взаимными узами преступления и союзом злодеев, ты, несомненно, постигнешь вечным наказанием, живых и мертвых".

[Сноска 1: "Статор".]

Мужество не покинуло Катилину. Он сидел в одиночестве, поскольку все остальные сенаторы отпрянули от скамьи, которую он занял. Он встал и, отвечая Цицерону, принужденным к смирению тоном заявил о своей невиновности. Он попытался выдвинуть и другой аргумент. Неужели он, человек древнего и знатного рода, должен был быть поспешно осужден своими собратьями—аристократами по слову этого "иностранца", как он презрительно называл Цицерона, этого *парвеню* из Арпинума? Но призыв не возымел действия; его голос потонул в криках "предатель", раздававшихся со всех сторон, и с угрозами и проклятиями, поклявшись, что, поскольку он доведен до отчаяния, он втянет в свою гибель весь Рим, он выбежал из здания Сената. Глубокой ночью он покинул город и присоединился к лагерю повстанцев в Фезулах.

Когда громы красноречия Цицерона выгнали Катилину из здания Сената и вынудили его присоединиться к своим товарищам-предателям и таким образом поставить себя в положение, когда он мог начать открытую войну против государства, оставалось разобраться с теми влиятельными заговорщиками, которые были обнаружены и схвачены в городских стенах. В трех последующих речах в сенате он оправдывал курс, который он предпринял, позволив Катилине бежать, раскрывал дальнейшие подробности заговора и призывал к принятию решительных мер для подавления его в городе. Даже сейчас ни все красноречие Цицерона, ни все усилия нашего воображения осознать, как люди осознавали это тогда, неотвратимость общественной опасности, не могут примирить упрощенный процесс, принятый консулом, с нашими английскими представлениями о спокойном и взвешенном правосудии. В виновности этих людей не было никаких сомнений; большинство из них даже признали это. Но

официального судебного разбирательства не было; и через несколько часов после того, как колеблющийся сенат вынес им смертный приговор, Лентул и Цетег, два члена этого августейшего органа, вместе с тремя их виновными товарищами были выведены из своих отдельных мест заключения с некоторой степенью секретности (как явствует из различных источников), препровождены в мрачные тюремные своды Туллияна [1] и там тихо задушены единоличным распоряжением консула. Несомненно, они заслуживали смерти, если ее когда-либо заслуживали политические преступники: жизни и свободы добропорядочных граждан были в опасности; необходимо было нанести глубокий и быстрый удар по заговору, который распространился неизвестно насколько широко и в участии в котором сильно подозревались такие люди, как Юлий Цезарь и Красс. Консулы были наделены внеконституционными полномочиями, переданными специальным постановлением сената во всеобъемлющей формулировке, согласно которой они "должны были следить за тем, чтобы государству не был нанесен ущерб". Тем не менее, не заходя так далеко, чтобы называть это беспрецедентное судебное разбирательство, как это делает немецкий критик Моммзен, "актом самой жестокой тирании", легко понять, почему мистер Форсайт, вынося спокойное и беспристрастное судебное решение по этому делу, считает невозможным согласовать его с нашими представлениями о достойном и беспристрастном правосудии. [2] Это был поспешный инстинкт самосохранения, акт слабого правительства, неуверенного в своих друзьях, находящегося под влиянием террора — террора, для которого, без сомнения, были достаточные основания. Когда Цицерон стоял на ступенях тюрьмы, где он ожидал отчета тех, кто следил за работой с заключенными внутри, и объявил об их участии собравшейся внизу толпе одним словом "*Виксерунт*" (эвфемизм, который мы можем лишь слабо перевести как "Они прожили свою жизнь"), без сомнения, он почувствовал, что с этого момента он и республика стали более прочными хозяевами; без сомнения, очень многие из тех, кто его слышал, почувствовали, что они снова могут дышать, теперь, когда убийцы Катилины были, по крайней мере, в руках у них. во всяком случае, на мгновение у них перехватило дыхание; и толпа, следовавшая за консулом домой, была достаточно искренна, когда приветствовала такого энергичного мстителя как "Отца своей Страны". Но, тем не менее, это было то, что политики называли хуже преступления — это была политическая ошибка; и Цицерон пришел к выводу, что так оно и было в последующие годы; хотя — отчасти из-за его огромной самооценки, а отчасти из-за честной решимости отстаивать свой поступок во всех его последствиях - он никогда не допускал и тени подобного признания в своей самой интимной переписке. Впоследствии он присвоил себе единственную славу за то, что спас государство такими быстрыми и решительными действиями; и в этом его полностью подтверждали факты: оправданный или неоправданный, это был его поступок; и в Риме были горящие сердца, которые не осмеливались выступить против популярного консула, но приписывали это исключительно ему, а не дню возмездия.

[Примечание 1: Государственная темница, как говорят, была построена во времена правления Сервия Туллия. Она находилась на глубине двенадцати футов под землей. Там часто происходили казни, и тела преступников впоследствии сбрасывали вниз по гемонийским ступеням (которые были совсем рядом) на Форум, на всеобщее обозрение.]

[Сноска 2: Жизнь Цицерона, стр. 119.]

Пока, однако, все шло успешно. Смелость мер консула устрасила недовольных и утвердила робких и колеблющихся. Его коллега Антоний, на которого в этот кризис ни в коем случае нельзя было положиться, поскольку он лишь недавно сформировал коалицию с Катилиной против

Цицерона на выборах консулов, благодаря разумному управлению был удален из Рима, чтобы принять командование армией повстанцев в Этрурии. На самом деле он не принимал активного участия в кампании лично, поскольку только что перенес приступ подагры, настоящий или притворный; но его генерал-лейтенант был старым солдатом, который заботился главным образом о своем долге, и отряд Катилины — безрассудные и отчаянные люди, которые собрались в его лагере по всем мотивам и со всех сторон, — в конце концов были загнаны в угол и погибли, сражаясь до последнего. Едва ли хоть один человек из них, за исключением рабов и разбойников, пополнивших их ряды, либо сбежал, либо попал в плен. Тело Катилины, которого легко узнать по его замечательному росту, было найдено еще дышащим, лежащим далеко впереди своих последователей, в окружении мертвых тел римских легионеров, поскольку потери со стороны Республики были очень серьезными. Последнее, что осталось у него из многих благородных качеств, которыми были отмечены его ранние годы, — это отчаянная личная храбрость.

В течение месяца, который еще оставался до его консульства, Цицерон был выдающимся человеком в Риме — и, как следствие, во всем мире. Знать и простые люди наперебой воздавали почести спасителю государства. Катулл и Катон — люди, из уст которых слова чести звучали с удвоенным весом, — публично приветствовали его достопамятным титулом *Pater Patriae*; и не только столица, но и большинство провинциальных городов Италии публично засвидетельствовали его непревзойденные заслуги. Ни один человек не ценил эти заслуги так глубоко, как сам великий оратор. Возможно, что другие люди чувствовали такое же тщеславие по поводу своих подвигов и на гораздо меньших основаниях; но, несомненно, ни один человек никогда не выставлял напоказ свое самодовольство так, как Цицерон. Его тщеславию действительно следовало скорее восхищаться, чем улыбаться, потому что это было тщеславие столь способного человека. Другие великие люди были либо слишком по-настоящему великими, чтобы испытывать это чувство, либо были достаточно мудры, чтобы держать его при себе. Но для Цицерона это, должно быть, было одним из удовольствий его жизни. Он твердил о своем консульстве вовремя и не вовремя, в своих письмах, в своих судебных выступлениях, в своих публичных выступлениях (и, мы можем быть уверены, в его беседах), пока не стало казаться, что его друзья ненавидели эту тему даже больше, чем его враги. Он писал об этом в прозе и стихах, на латыни и греческом — и, без сомнения, ограничивал их только этими языками, потому что они были единственными, которые он знал. Хорошо известная фраза, вызвавшая насмешки таких критиков, как Ювенал и Квинтилиан, из-за неудачного звона, особенно неприятного для римского уха:

"O fortunatam natam me consule Romam!"

выражает чувство, которое — рифмованное или без рифмы, разумное или без причины — он постоянно повторял в той или иной форме самому себе и каждому, кто готов был слушать.

Его консульство завершилось со славой; но в самый последний день его пребывания в должности среди триумфа раздался предостерегающий голос, который мог бы открыть ему глаза — возможно, так оно и было — на грядущие беды. Он встал с Трибуны, чтобы произнести обычное обращение к народу о сложении своих полномочий. Метелл Непот был недавно избран одним из трибунов: в его обязанности входило ревностно охранять все права и привилегии римского народа. Говорят, что под влиянием Цезаря — возможно, сам нераскрытого сторонника Катилины — он нанес удар по уходящему в отставку консулу под

предлогом исполнения служебных обязанностей. Когда Цицерон собирался выступить, он наложил "вето" трибуна; по его словам, не следует слушать человека, который *приговаривал римских граждан к смерти без суда*. На Форуме царил ужас. Цицерон не мог оспаривать то, что было совершенно законным осуществлением полномочий трибуна; только в нескольких решительных словах, которые он воспользовался случаем добавить к обычной официальной клятве при уходе с поста, он заявил, что его поступок спас Рим. Народ закричал в ответ: "Ты сказал правду!" - и Цицерон отправился домой частным лицом, но с этой сердечной данью от благодарных соотечественников, приятно звенящей в ушах. Но горьким словам Метелла еще предстояло повторяться его врагами снова и снова, пока непостоянный народный голос не подхватил их и не прокричал вслед некогда популярному консулу.

Давайте ненадолго последуем за ним в частную жизнь; признаемся, для нас это более приятное общество, чем зыбкая слава политической арены Рима. В своей семье и общественных отношениях великий оратор вызывает у нас такой личный интерес и симпатию, которых ему иногда не хватает в его карьере государственного деятеля. В сорок пять лет он стал очень богатым человеком - купил за что—то около 30 000 фунтов стерлингов великолепный особняк на Палатинском холме; и помимо старомодного фамильного особняка близ Арпинума, который теперь стал его собственностью после смерти отца, он построил, или расширил, или купил в прежнем виде виллы в Анции, Формиях, Помпеях, Кумах, ПUTEОЛАХ и в полудюжине других мест, кроме единственного любимого места из всех, которое было для него почти тем же, чем Эбботсфорд был для Скотта, - домом, который был его домом. украшать свой загородный дом среди живописных холмов Тускулума было наслаждением всей его жизни. [1] Когда-то он принадлежал Сулле и находился примерно в двенадцати милях от Рима. В этом любимом здании и его обустройстве он потворствовал, насколько позволял ему богатый кошелек, не только высокоразвитому вкусу, но в некоторых отношениях почти причудливой фантазии. "Простой коттедж", как он сам называет это в одном месте; но это было тогда, когда он отвергал обвинения в экстравагантности, которые были выдвинуты против него, и все мы кое-что понимаем в гордыне, которая в таких вопросах "подражает смирению". Он изобразил бы это на плане Академии в Афинах с ее *палестрой* и открытой колоннадой, где, как он рассказывает нам, он мог бы гулять и обсуждать политику или философию со своими друзьями. Греческий вкус и дизайн были так же модны среди римлян того времени, как стиль Луи Куаторце был у наших дедов. Но главной особенностью этого дома была библиотека, а самой ценной мебелью - книги. Без книг, сказал он, дом - всего лишь тело без души. Он питал к этим сокровищам не только спокойную любовь читателя, но и страсть библиофила; он придавал особое значение своим переплетам и восхищался яркими цветами обложек, в которых хранились драгоценные рукописи, а также более интеллектуальными красотами внутри. Время от времени он нанимал умных греческих рабов для изготовления копий всех тех произведений, которые нельзя было легко купить. Он мог бы также, как он сам рассказывает нам, зайти к своему соседу, молодому Лукуллу, который был его своего рода подопечным, и позаимствовать в библиотеке этого великолепного особняка любую книгу, какую захочет. Его друг Аттик собирал для него повсюду — рукописи, картины, скульптуры; хотя к скульптуре он, по его словам, особого отношения не имеет, за исключением тех предметов, которые могли бы стать подходящим украшением его *палестры* и библиотеки. Очень приятными, должно быть, были дни, проведенные вместе двумя друзьями — такими похожими в своих личных вкусах и привычках, такими далекими друг от друга в избранном ими жизненном пути, — когда они встречались там во время кратких каникул, которые Цицерон крал у судов и Форума, и прогуливались по тенистым аллеям или

бездельничали в прохладной библиотеке, в этом доме изысканной непринужденности, где, по словам занятого юриста и политика, он на время забывал обо всех трудах и досадах общественной жизни.

[Примечание 1: Недалеко от современного города Фраскати. Но нет уверенности относительно местонахождения виллы Цицерона.]

Однако даже в эти счастливые часы уединения у него случались небольшие неприятности. Утренние визиты были в древней Италии, как и в современной Англии, в тягость деревенскому джентльмену. Такой человек, как Цицерон, был очень хорошим собеседником и к тому же немного львом; и сельские соседи, где бы он ни устраивал свой отдых, настаивали на том, чтобы поделиться с ним своим занудством. Его вилла в Формиях, его любимое место жительства рядом с Тускулумом, по его словам, больше походила на общественный зал. Большинство его посетителей, действительно, имели благоразумие не беспокоить его после десяти-одиннадцати часов утра (модные визиты в те дни начинались неудобно рано); но был один или двое, особенно его ближайший сосед Аррий и друг друга по имени Себоз, которые приходили и уходили в любое время: первый имел прискорбную склонность к философским дискуссиям и изо дня в день откладывал свое возвращение в Рим (он был так любезен сказать), чтобы насладиться этими долгими утренними беседами с Цицероном. Таковы прискорбные жалобы в двух или трех письмах к Аттику; но, как и все подобные жалобы, они, вероятно, были серьезны лишь наполовину: популярность, даже на водопое, не была чем-то неприятным, и автор, несомненно, знал, как применять на практике социальную философию, которую он рекомендует другим, и весело и приятно занимал свое место в обществе, которое он находил вокруг себя, не презирая своих честных соседей за то, что не все они украсили консульство или спасли государство.

Были времена, когда Цицерон воображал, что сельская жизнь, со всеми ее изысками богатства, вкуса и литературного досуга, достойна большего, чем общественная жизнь столицы. Его друзья и его книги, по его словам, были для него самой приятной компанией; "политика могла бы пойти насмарку"; считать волны, накатывающие на пляж, было счастьем; он "предпочел бы быть мэром Антиума, чем консулом в Риме"; "предпочел бы сидеть в своей собственной библиотеке с Аттиком в их любимом кресле под бюстом Аристотеля, чем в курульном кресле". Это правда, что эти стремления к отставке обычно следовали за каким-нибудь политическим поражением или унижением; что его естественной сферой, единственной жизнью, в которой он мог быть по-настоящему счастлив, было острое возбуждение партийной борьбы — славные поля сражений в Сенате и на Форуме. Истинный смысл его мыслей можно найти в этих словах, обращенных к его другу Целию: "Цепляйся за город, мой друг, и живи в его свете: любая работа за границей, как я чувствовал с самого раннего детства, темна и мелочна для тех, у кого есть способности прославить себя в Риме". Однако в другом типе не было ничего наигранного или лицемерного: это был школьник, сбежавший с работы, полностью наслаждающийся своим отпуском и воображающий, что нет ничего более восхитительного, чем постоянно проводить каникулы. В этом, опять же, было сходство между вкусом Цицерона и Горация. Поэт любил свою сабинскую ферму и все ее сельские прелести - на свой манер; и, возможно, искренне думал, что любит ее больше, чем на самом деле. Больше всего он любил писать об этом. С той причудливой, возможно, наполовину реальной и наполовину притворной пасторальной простотой, которая всегда отличала состояние чрезмерно роскошной цивилизации, он протестует сам себе, что нет ничего лучше этой страны. Но, возможно, Гораций отпускает лукавую шутку над самим собой, как бы в сторону своих читателей, в лице Альфия, богатого

городского ростовщика, которого заставляют произносить этот прелестный апостроф к сельскому счастью:

"Счастлив человек, не имеющий опыта в делах,
Который, живя просто, как наши предки в старину,
Возделывает несколько акров, которые возделывал его отец,
Не помышляя о ростовщичестве или золоте".

"Гораций" Мартина

И который, расточив таким образом несколько строф о прелестях этой страны, через неделю собирает все свои деньги, чтобы поселиться там, и снова вкладывает их (без сомнения, под более высокие проценты) на следующей неделе. "*O rursus, quando te aspiciam!*" - таков был клич общественных деятелей до и после Цицерона, для которых, как для великого римлянина, отстранение от политической жизни и обречение на вечный досуг были бы приговором, который сокрушил бы саму их душу.

В то время он был очень счастлив в своей семье. Он и его жена любили друг друга искренней привязанностью; что-либо большее было бы вне естественного хода вещей в римском обществе в любое время, и даже в такой степени, в какой это стало заметным исключением в более поздние дни. Это воздает высокую честь характеру Цицерона и его семьи — и, судя по всем дошедшим до нас свидетельствам, это может быть правдой, — что даже в те злые времена это могло представлять оригинал того, что нарисовал Вергилий, как почти фантастическую картину, или такую, которая могла быть реализована только в каком-нибудь счастливом уединении, куда никогда не проникали пороки столицы -

Где любящие дети карабкаются вверх, чтобы поцеловаться —
Дом целомудренных наслаждений и супружеского блаженства. [1]"

Его маленькая дочь Туллия, или Туллиола, таково было ее любимое имя (римские уменьшительные образованы несколько изящнее, чем наши, путем добавления слога вместо сокращения), была отрадой его сердца. В своих ранних письмах Аттику он постоянно упоминает о ней с нежностью — передает привет или какое-нибудь шутивное послание, которое понял бы его друг. Она была счастлива в браке (хотя ей тогда было самое большее тринадцать) за год до его консульства; но нежные отношения между отцом и дочерью не прерывались до самой ее ранней смерти. Его единственного сына Марка, родившегося спустя значительный промежуток времени и сменившего Туллию в качестве домашнего любимца, также заставляют время от времени посылать какие-нибудь детские слова на память старому другу своего отца:

"Цицерон Маленький шлет свое почтение Титу Афинянину" — "Цицерон Философ приветствует Тита Политика. [2]" Эти послания написаны по-гречески в конце букв. Абекен полагает, что в оригиналах они могли быть добавлены рукой маленького Цицерона, "чтобы показать, что он начал с греческого"; "предположение, - говорит мистер Меривейл, - "слишком приятное, чтобы не быть с готовностью принятым". Мальчик доставил своему отцу некоторые неприятности в дальнейшей жизни. Он с некоторым почетом служил офицером кавалерии под командованием Помпея в Греции или, по крайней мере, не попал там ни в какие неприятности. Несколько лет спустя он пожелал поступить на службу в Испанию, под начало Цезаря, против сыновей

Помпея; но отец не одобрил эту смену стороны. Он убедил его вместо этого поехать учиться в Афины, предоставив ему то, что и Аттик, и он сам считали очень щедрым доходом, однако недостаточным для содержания лошади, что Цицерон считал ненужной роскошью. Вероятно, молодой кавалерийский офицер придерживался иного мнения; во всяком случае, среди философов у него было больше неприятностей, чем в армии. Он тратил гораздо больше, чем ему полагалось, и один из профессоров, лекции которого он посещал, имел честь помочь ему потратить эти деньги. Молодой человек, должно быть, разделял доброе расположение своего отца. Он написал конфиденциальное письмо Тиро, старому семейному слуге, демонстрируя очень добрые чувства и обещая исправиться. Сомнительно, насколько было выполнено обещание. Однако впоследствии он занял высокое положение и пришел к власти при Августе, но умер, не оставив потомства; и, по крайней мере, насколько это известно истории, род Цицеронов вымер. Она прославилась вместе с великим оратором и угасла вместе с ним.

[Footnote 1: "Interia dulces pendent circum oscula nati; Casta pudicitiam servat domus".—Georg. ii. 524.]

[Сноска 2: см. "Письма к Аттику", ii. 9, 12; перевод Меривейлом "Цицерона в кратком изложении" Абекена, стр. 114.]

Все биографы Цицерона столкнулись со значительными трудностями в том, чтобы проследить, хотя бы удовлетворительно, источники огромного состояния, которое, должно быть, требовалось для содержания и украшения в соответствии с таким роскошным вкусом стольких резиденций во всех частях страны. Правда, эти расходы часто приводили Цицерона к долгам и затруднениям; но то, что он занимал у своих друзей, он, по-видимому, всегда возвращал, так что деньги должны были поступать из того или иного источника. Его наследство в Арпине, по-видимому, не было большим; он получил в приданое Теренции всего около 3000 или 4000 фунтов стерлингов; и мы не находим никаких намеков на то, что он зарабатывал деньги на каких-либо коммерческих спекуляциях, как это делали некоторые римские дворяне. С другой стороны, будет величайшей справедливостью по отношению к нему сказать, что его руки были чисты от тех несправедливо нажитых доходов, которые сколотили состояния многих богатейших государственных деятелей Рима, которые были преступниками лишь в меньшей степени, чем вероломство, вымогательство и откровенный грабеж в несчастных провинциях, которыми их послали управлять. Такие возможности были так же доступны ему, как и другим людям, но он упорно избегал их. То, что он отказался от заманчивой награды в виде управления провинцией, на которую имел право по истечении срока своего преторства, справедливо может быть объяснено тем, что он имел в виду высшую цель консульства, для достижения которой путем ранней и настойчивой агитации он счел необходимым остаться в Риме. Но он снова отказался от этого права, когда его консульство закончилось; и когда несколько лет спустя он неохотно отправился в качестве проконсула в Киликию, его управление там, как и прежде на его низшей должности в Сицилии, было отмечено честностью, совершенно исключительной для римского правителя. Его вознаграждение, строго ограниченное законными рамками, будет лишь умеренным, и, каким бы оно ни было, появилось в его жизни слишком поздно, чтобы как-либо объяснить его предыдущие траты. В разное время он получил много ценного наследства от личных друзей или благодарных клиентов, которые умерли бездетными (следует помнить, что бесплодие брачного союза стало тогда в Риме, как говорят сейчас в некоторых странах,

порицанием чувственной и изнеженной аристократии); в одной из своих "Филиппик" он сам хвастается, что получил из этого источника более 170 000 фунтов стерлингов. М—р Форсайт также отмечает крупные подарки, которые были сделаны иностранными королями и государствами, чтобы заручиться поддержкой и отстаиванием интересов ведущих людей Рима: "Мы вряд ли это можно назвать взятками, поскольку во многих случаях отношения покровителя и клиента открыто устанавливались между иностранным государством и каким-нибудь влиятельным римлянином: и защищать это в Сенате и перед народом становилось его долгом, поскольку, конечно, это было в его интересах". Таким образом, по его мнению, Цицерон удерживал "слуг" из Диррахия; и, он мог бы добавить, из Сицилии. Сам великий оратор хвастался тем, что он никогда ничего не брал за свои услуги в качестве адвоката; и действительно, такие выплаты были запрещены законом. [1] Но при всем уважении к материальной честности Цицерона, из его писем, к сожалению, можно узнать, что ему нельзя безоговорочно доверять, когда он хвастается; и он может не рассматривать добровольные подарки после того, как дело было решено, в свете оплаты. Паэт, один из его клиентов, передал ему ценную библиотеку книг; и нельзя поверить, что это был единственный случай тихого обхода цинцианского закона или что не было других сделок того же характера, которые никогда не упоминались ни в одном письме Цицерона, которое, вероятно, дошло до нас.

[Примечание 1: Этот принцип, как и многие другие, перешел из старого римского права в наше собственное, так что по сей день гонорары адвоката, рассматриваемые в качестве *гонорара*, или добровольного подарка, сделанного ему за его услуги, не подлежат взысканию по закону.]

ГЛАВА IV.

ЕГО ИЗГНАНИЕ И ВОЗВРАЩЕНИЕ.

Мы должны вернуться в Рим. Цицерон никогда не покидал его, за исключением своих редких коротких отпусков. Хотя экс-консул больше не занимал свой пост, он по-прежнему оставался одним из выдающихся государственных деятелей, и его почившее достоинства давало ему важное преимущество в Сенате. Вскоре ему предстояло вступить в контакт и более или менее вступить в оппозицию с двумя великими вождями партий, в распри которых он в конце концов оказался столь фатально вовлечен. Помпей и Цезарь оба постепенно становились грозными, и у обоих были собственные амбициозные планы, совершенно несовместимые с остатками республиканской свободы, — планы, о которых Цицерон более или менее подозревал, и об этих подозрениях они, вероятно, оба знали. Оба своими успешными кампаниями приобрели не только славу и почести, но и гораздо более опасное влияние — влияние, которому впоследствии предстояло подавить все остальные, — на привязанность своих легионов. Помпей все еще отсутствовал в Испании, но вскоре должен был вернуться из своей долгой войны против Митридата, насладиться самым великолепным триумфом, когда-либо виденным в Риме, и возглавить олигархическую партию настолько долго и постольку, поскольку они помогут ему прийти к власти, которой он жаждал. Враги, которых Цицерон нажил своими решительными мерами в деле о заговоре катилинариев, теперь воспользовались именем и популярностью Помпея, чтобы напасть на него. Трибун Метелл, верный своему старому партийному лозунгу, внес в сенат предложение о том, чтобы успешный полководец, на котором были сосредоточены все надежды, был отозван в Рим со своей армией "для восстановления нарушенной конституции". Все знали, против кого было направлено это предложение и что означало нарушение конституции; это было предание граждан смертной казни без суда. Эта мера не

была принята, хотя Цезарь, завидовавший Цицерону даже больше, чем Помпею, согласился на эту попытку.

Но в конце концов удар обрушился на Цицерона совсем с другой стороны, из-за простой личной обиды решительного и беспринципного человека. Публий Клодий, молодой человек из знатной семьи, когда-то друг и сторонник Цицерона в борьбе с Катилиной, но который уже приобрел печальную известность своим самым безудержным распутством, был замечен в женском платье на праздновании обрядов *Vona Dea* — разновидности религиозного масонства среди римских дам, тайны которого очень мало известны, и, вероятно, в любом случае их лучше оставить без объяснения. Но присутствие на них мужчины было неслыханным до сих пор святотатством, которое, как считалось, навлекло на весь город справедливый гнев оскорбленной богини. Празднование проходило в доме Цезаря, как претора, под председательством его жены Помпеи; и говорили, что целью молодого распутника была интрига с этой женщиной. Обстоятельства не благоприятствовали подозрению, но Цезарь немедленно развелся с ней, сделав часто цитируемое замечание о том, что "жену Цезаря нельзя даже подозревать". За это преступление, непростительное даже в том коррумпированном обществе, когда преступления гораздо более серьезной окраски оставались почти недоказанными, Клодий после некоторой задержки предстал перед публичным судом. Защита выдвинула *алиби*, и Цицерон выступил в качестве свидетеля, чтобы опровергнуть его: в тот же вечер он встретился и разговаривал с Клодием в Риме. Доказательства были достаточно очевидны, но Клодий и его друзья обманули присяжных; щедрый подкуп и другие развращающие влияния еще более позорного рода были успешно применены к большинству из них, и он избежал осуждения несколькими голосами. Но он так и не простил Цицерону той роли, которую тот сыграл против него; и с этого времени последний обрел нового, беспринципного, неутомимого врага, услугами которого с радостью пользовались его старые противники. Сам Цицерон в течение некоторого времени недооценивал эту новую опасность. Он не упускал возможности в самых резких выражениях поиздеваться над неосужденным преступником в сенате и обменяться с ним — в наших современных глазах в ущерб его собственному характеру и достоинству — самыми грубыми шутками, когда они встречались на улице. Но искушение пошутить, какого бы рода оно ни было, всегда было непреодолимо для Цицерона: это была слабость, за которую он не раз дорого расплачивался, ибо они вспоминались ему тогда, когда он о них забывал. Тем временем Клодий — более мягкий Катилина, не лишенный многих популярных качеств — добился избрания трибуном, формально исключив себя из своего собственного сословия знати для этой цели, поскольку трибуном должен быть человек из простого народа. Полномочия канцелярии были огромны для любых целей обструкции и нападения; Клодий приложил все усилия, чтобы втереться в доверие ко всем классам; а консулами того года были люди с дурной репутацией, для которых он нашел успешное средство подкупа, пообещав провести специальный закон, гарантирующий им выбор правительств самых богатых провинций — этих вожделенных мест добычи, — которыми в противном случае им пришлось бы пользоваться по жребию. Когда все созрело для его мести, он представил народу в полном составе следующий билль о наказаниях: "Да будет введено в действие, что тот, кто предал смерти римского гражданина без вынесения приговора в надлежащей форме судебного разбирательства, должен быть предан огню и воде". Такова была юридическая форма слов, которые подразумевали изгнание из Рима, объявление вне закона и социальное отлучение. Каждый знал, против кого было выдвинуто это ходатайство. Оно было принято — принято, несмотря на возмущение всех честных людей Рима, несмотря на все унижительные попытки Цицерона добиться его отклонения.

Напрасно он надел траур, как это было принято у тех, кому было предъявлено обвинение в общественных преступлениях, и ходил по улицам, молча взывая к жалости своих сограждан. Напрасно весь его собственный кавалерийский орден и фактически, как он заявляет, "все честные люди" (это было его любимое выражение для членов его собственной партии) надели ту же одежду, чтобы выразить свое сочувствие, и двадцать тысяч молодых людей из хороших семей — все в трауре — сопровождали его по городу. Сенат даже собрался и принял резолюцию о том, что вся их палата представителей тоже должна надеть траур. Но Габиний, один из консулов, немедленно созвал общественное собрание и предупредил народ, чтобы он не совершал ошибки, думая, что Сенат - это Рим.

Также тщетными были любые личные обращения Цицерона к единственным двум людям, которые могли обладать достаточным влиянием, чтобы повлиять на народное голосование. Он якобы был в хороших отношениях и с Помпеем, и с Цезарем; на самом деле он проводил такую политику, какой она должна была быть. Он предвидел, что от их будущего курса, вероятно, будет зависеть судьба Рима, и убедил себя, возможно, искренне, что сможет сделать их "лучшими гражданами". Но он не доверял ни тому, ни другому, и оба видели в нем препятствие для своих собственных амбиций. Теперь Цезарь смотрел на это холодно, не совсем сожалея о том обороте, который приняли дела, и слабо намекнул, что, возможно, какая-то "более мягкая мера" могла бы послужить решению этой проблемы. У Помпея Цицерон имел право рассчитывать на какую-то активную поддержку; действительно, таковая была обещана в случае необходимости. Он бросился к его ногам с молитвами и слезами, но даже это последнее унижение было напрасным; и он предвосхитил исполнение этого позорного эдикта добровольным уходом в изгнание. Пизон, один из консулов, сатирически предположил, что таким образом он мог бы "спасти Рим" во второй раз. Его имущество было немедленно конфисковано; его виллы в Тускулуме и Формии были разграблены и опустошены, консулы претендовали на львиную долю добычи; а Клодий со своей вооруженной толпой поджег благородный дом на Палатине, сравнял его с землей и воздвиг на этом месте храм **Свободы!**

У Цицерона были друзья, которые настойчиво убеждали его пренебречь эдиктом, остаться в Риме и призвать всех добропорядочных граждан вооружиться на его защиту. Современные историки в целом исходят из того, что, если бы он мог решиться на такой курс, он, вероятно, был бы успешным. Мы предполагаем, что он должен был полагаться на эти "двадцать тысяч римских юношей" — довольно хрупкая трость, на которую можно было положиться (вспоминая, какими были эти молодые доблестные люди), когда против него выступил Цезарь, теперь во главе своих легионов стоявший сразу за воротами Рима. Сам он всерьез подумывал о самоубийстве и самым серьезным и деловым образом консультировался со своими друзьями относительно целесообразности такого шага; хотя, с нашими современными представлениями на этот счет, такая консультация скорее смехотворна, чем возвышенна. Разумный и практичный Аттикус убедил его, что такое решение его затруднений было бы величайшей возможной ошибкой — более того, ошибкой, которую никогда нельзя было исправить.

Но почти любой курс подошел бы ему лучше, чем тот, который он выбрал. Если бы он остался и мужественно противостоял Клодию и его воинам — или если бы он навсегда повернулся спиной к Риму, отряхнул пыль со своих ног от неблагодарного города и стал благородным пенсионером при Аттике в Бутротуме, — он умер бы более великим человеком. Он скитался с места на место, приютив друзей, чья бескорыстная преданность с честью отмечает их имена в том лживом и порочном поколении — Сику, Флакка и Планция, — оплакивая себя, как женщина, "слишком

ослепленная слезами, чтобы писать", "ненавидя дневной свет". Аттикусу показалось, что он сходит с ума. Неприятно останавливаться на этой жалкой слабости великого ума, которую признают самые пылкие восхвалители Цицерона и которой не преминули воспользоваться его недоброжелатели. Также нелегко найти ему оправдание, но мы предоставим ему все преимущества защиты мистера Форсайта:

"Редко несчастье так сокрушало благородный дух, и, пожалуй, никогда "горький хлеб изгнания" никому не казался более горьким, чем ему. Мы должны помнить, что любовь к родине была страстью древних до такой степени, которую сейчас трудно осознать, и изгнание из нее даже на время считалось невыносимым злом. Наиболее близким к подобному чувству было, возможно, чувство какого-нибудь фаворита при европейской монархии, когда из-за неодобрения своего государя он был лишен места и власти и изгнан со двора. Перемена в Цицероне была поистине огромной. Он не только был изгнан из Рима, места всех своих надежд, своей славы, своих триумфов, но и находился под запретом преступника. Если его находили на определенном расстоянии от столицы, он должен был умереть, и это была смерть для любого, кто давал ему пищу или кров. Его имущество было уничтожено, его семья осталась без гроша в кармане, а люди, которым он так преданно служил, были виновниками его разорения. Все это можно было бы утверждать в его пользу, но все же было бы только в соответствии с римской стойкостью показать, что он обладал чем-то от духа падшего архангела". [1]

[Сноска 1: "Жизнь Цицерона" Форсайта, стр. 190.]

Его изгнание длилось почти полтора года. Задолго до этого наступила реакция в его пользу. Новые консулы были хорошо расположены к нему; наглость Клодия уже вызвала отвращение Помпея; Цезарь отсутствовал со своими легионами в Галлии; его собственные друзья, которые все это время активно выступали в его пользу (хотя в своем сварливом настроении он обвинял их в апатии) воспользовались переменой, его великодушный соперник Гортензий был одним из самых активных; и вся неистовая ярость Клодия и его партии послужила лишь отсрочке на некоторое время возвращения, которого они не могли предотвратить. Ходатайство о его отзыве было, наконец, поддержано подавляющим большинством голосов.

В этом случае у Цицерона был один замечательный союзник. В один из дней, когда Сенат, как было известно, обсуждал его отзыв, в театре играли "Андромаху" Энния. Популярный актер Эзоп, чье имя дошло до нас в сочетании с именем Росция, играл главного героя. Великий оратор был его учеником и, очевидно, считался им своим личным другом. Со всей силой своего непревзойденного искусства он вложил в плач Андромахи по ее отсутствующему отцу свои собственные чувства к Цицерону. Слова в этой роли были поразительно уместны, и он, не колеблясь, вставил пару собственных фраз, когда заговорил об этом человеке

"Кто с непоколебимым умом поддерживал государство,
Стоял на стороне народа в опасные времена,
Никогда не опасался за свою жизнь и не щадил себя".

Его тон и жест, когда он подчеркнуто обращался к римской аудитории, были настолько значительными и сочувственными, что они вспомнили о нем и под бурю аплодисментов заставили повторить этот отрывок. Он добавил к этому слова, которые не были записаны для него:

"Лучший из всех друзей в тяжелейший период войны!"

и аплодисменты раздались с удвоенной силой. Актер черпал мужество в своем успехе. Когда по ходу пьесы он подошел, чтобы произнести слова:

— И ты... ты позволил ему жить изгнанником...

Смотрите, как его выгоняют и за ним охотятся у ваших ворот!"

он указал на дворян, рыцарей и простолюдинов, когда они сидели на своих местах в переполненных рядах перед ним, его собственный голос сорвался от горя, и слезы, даже больше, чем аплодисменты всего зала, свидетельствовали как об их чувствах к изгнаннику, так и о драматической силе актера. "Он отстаивал мое дело перед римским народом", - говорит Цицерон (ибо именно он рассказывает эту историю), "с гораздо большим красноречием, чем я мог бы отстаивать сам". [1]

[Сноска 1: Защита Сестия, с. 56 и др.]

В первые дни своего изгнания, когда он гостил у одного из своих друзей в Италии, его посетил удивительный сон, о котором он теперь вспоминает с некоторым интересом. Он рассказывает нам эту историю и сам, хотя и вкладывает ее в уста другого оратора в своем диалоге о "Гадании". Если мало кто так любил рассказывать личные анекдоты везде, где мог найти для них место, то еще меньше было тех, кто мог рассказать их так хорошо.

Я пролежал без сна большую часть ночи и, наконец, к рассвету заснул крепким сном. Я отдал приказ своему сопровождающему, чтобы в этом случае, хотя мы должны были отправиться в путь сегодня же утром, соблюдалась строгая тишина и чтобы меня ни в коем случае не беспокоили; когда около семи часов я проснулся, я рассказал ему свой сон. Я думал, что блуждаю один в каком-нибудь уединенном месте, когда мне явился Гай Марий в своих фасциях, перевязанных лавром, и спросил, почему я так печален? И когда я ответил, что меня изгнали из моей страны, он схватил меня за руку, пожелал мне приободриться и поручил своему собственному ликтору отвести меня к своему памятнику; там, по его словам, я найду свое избавление".

Так оно и оказалось на самом деле. Храм, посвященный Чести и Добродетели, в котором заседал Сенат, когда принималась первая резолюция об отзыве Цицерона, был известен как "Памятник Марию". Нет необходимости сомневаться в абсолютной добросовестности истории, которую он рассказывает, и ее можно записать как один из самых ранних достоверных примеров воплощения мечты в реальность. Но если сны созданы из нашего воображения наяву, легко поверить, что судьба его великого горожанина Мария и сцены в римском сенате постоянно присутствовали в мыслях изгнанника.

Его возвращение было триумфальным. Он приземлился в Брундузиуме в день рождения своей дочери. Она только что потеряла своего мужа Пизона, который всегда доблестно поддерживал дело ее отца, но она была первой, кто приветствовал его со слезами радости, которые пересилили ее печаль. Он позаботился о том, чтобы не упустить ни единого шанса произвести впечатление своим возвращением. Он направился в Рим медленной поступью завоевателя. Путешествие, которое Гораций легко проделал за двенадцать дней, заняло у Цицерона

двадцать четыре. Но он выбрал не самый короткий, а самый людный маршрут - через Неаполь, Капую, Минтурны, Террачину и Арисию.

Пусть он расскажет историю своего собственного приема. Если он рассказывает это (как делает не раз) с нескрываемой гордостью, то это гордость, которой невозможно не посочувствовать. Впоследствии он хвастался, что его "перенесли обратно в Рим на плечах Италии", и Плутарх говорит, что он имел полное право хвастаться этим.

"Кто не знает, каким было мое возвращение домой? Как жители Брундузия протянули мне, если можно так выразиться, приветственную руку от имени всей моей родины? Оттуда до Рима мое продвижение было похоже на марш всей Италии. Не было ни одного района, ни одного города, корпорации или колонии, из которых не была бы направлена общественная делегация, чтобы поздравить меня. Зачем мне рассказывать о моем прибытии в каждое место? как люди заполняли улицы в городах, как они стекались сюда из деревни — отцы семейств с женами и детьми? Как я могу описать те дни, когда все праздновали, как будто это был какой-то высокий праздник бессмертных богов, радуясь моему благополучному возвращению? Тот единственный день был для меня подобен бессмертию; когда я вернулся в свой родной город, когда я увидел, как Сенат и население всех рангов вышли приветствовать меня, когда сам Рим выглядел так, словно он оторвался от своих основ, чтобы броситься в объятия своего спасителя. Ибо она приняла меня таким образом, что не только представители всех полов, возрастов и призваний, мужчины и женщины всех рангов и степеней, но даже сами стены, дома, храмы, казалось, разделяли всеобщую радость".

Сенат в полном составе вышел встречать его на Аппиевой дороге; у городских ворот его ждала позолоченная колесница; низшие слои населения столпились на ступенях храмов, чтобы посмотреть на него, когда он проезжал; и вот он въехал в Капитолий в сопровождении отрядов друзей, больше, чем завоевателя.

Его ликование, естественно, было таким же сильным, как и отчаяние. Он произнес две из своих самых ярких речей (если это действительно были его речи, что сомнительно), одну в Сенате, а другую - перед народом, собравшимся на Форуме, в которых поздравил себя с возвращением, а Рим - с возвращением своего самого прославленного гражданина. Любопытным свидетельством темперамента и логических способностей толпы во все времена мира является то, что в течение нескольких часов после того, как они аплодировали echo этой речи Цицерона, Клодию удалось спровоцировать их на серьезный бунт, сославшись на разорительные цены на зерно как на один из результатов возвращения изгнанника.

Еще почти четыре года, хотя и неспособные поколебать восстановленные позиции Цицерона в государстве — поскольку теперь его поддерживал Помпей, — Клодий и его сторонники, подкрепленные большим отрядом обученных гладиаторов, получавших жалованье, удерживали Рим в состоянии почти необъяснимой анархии. Было более чем подозрительно, что Красс, теперь совершенно отдалившийся от Помпея, предоставлял из своего огромного богатства средства для сдерживания этой беззаконной агитации. Выборы вызывали благоговейный трепет, заседания Сената прерывались, угрожали убийствами и предпринимались покушения. Люди уже начали обращать внимание на военное правление и думать, что благое дело ничуть не хуже того, что его поддерживают "сильные батальоны". События быстро приближались к тому моменту, когда Помпей и Цезарь, верные союзники по профессии и внешности, смертельные соперники в душе, надеялись выступить со своими опытными легионами. Даже Цицерон,

сторонник мира и конституционного государственного деятеля, чувствовал утешение при мысли, что к этому последнему аргументу может прибегнуть его собственная партия. Но, во всяком случае, правительству толпы Клодия должен был быть положен конец несколько внезапный. Милон, ныне один из кандидатов на пост консула, человек решительный и беспринципный, обратил против него его собственное оружие и содержал оппозиционный патруль из наемных гладиаторов и бойцов с дикими зверями. Сенат вполне одобрил, если не санкционировал открыто, это нерегулярное первенство их ордена. Обе группы разгуливали по улицам Рима, как Капулетти и Монтекки в Вероне; и говорили, что слышали, как Милон клялся, что избавит город от Клодия, если ему когда-нибудь представится такая возможность. Наконец это произошло во время случайной встречи на Аппиевой дороге, недалеко от Бовиллей. Между их слугами началась потасовка, и Клодий был убит — по словам его друзей, убит. Волнение в Риме было сильным: мертвое тело вынесли и публично возложили на Ростру. Последовали беспорядки; Милону пришлось бежать и отказаться от своих надежд на власть; и запуганный сенат назначил Помпея — на самом деле не "диктатором", поскольку это имя стало почти таким же ненавистным, как имя короля, — а единоличным консулом ради безопасности государства.

Цицерон возобновил свою адвокатскую практику, и теперь его призвали защищать Милона. Но Помпей, либо из-за какой-то личной обиды, либо для того, чтобы завоевать расположение населения, решил, что Милон должен быть осужден. Присяжные были потрясены его личным присутствием на процессе и занятием вооруженными солдатами всех аллей суда под предлогом поддержания порядка. Это было действительно таким же большим оскорблением свободного отправления правосудия, каким было бы присутствие полка солдат у входа в Вестминстер-холл на современном процессе по обвинению в государственной измене или подстрекательстве к мятежу. Цицерон делал вид, что видит в легионерах Помпея не более чем блюстителей спокойствия в городе. Но он знал лучше; и прекрасный пассаж во вступлении к его речи в защиту в том виде, в каком он дошел до нас, является одновременно великолепным образцом иронии и подтверждением прав адвоката.

"Хотя я сознаю, джентльмены, что для меня позорно проявлять страх, когда я стою здесь и защищаю одного из храбрейших людей; — и особенно мне не к лицу проявлять такую слабость, что, когда сам Милон гораздо больше беспокоится о безопасности государства, чем о своей собственной, я был бы неспособен выступить в его защиту с таким же великодушием; — все же это странное зрелище и странно составленный суд наводят ужас на мои глаза, ибо, куда ни повернись, я тщетно ищу древние обычаи Форума и старый стиль судопроизводства. публичные судебные процессы. Ибо ваш трибунал сегодня не окружен такой аудиторией, как обычно; это не обычная толпа, которая окружает нас. Те стражники, которых вы видите на посту перед всеми храмами, хотя и поставлены для предотвращения насилия, все же совершают своего рода насилие над просителем; поскольку на Форуме и при дворе правосудия, хотя окружающая нас военная сила полезна и необходима, все же мы не можем даже таким образом освободиться от опасений, не посмотрев с некоторой опаской на средства. И если бы я думал, что они выстроились там во враждебном порядке против Мило, я бы уступил обстоятельствам, джентльмены, и почувствовал, что среди такой демонстрации оружия нет места защитнику. Но я воодушевлен советом человека великой мудрости и справедливости — Помпея, который, несомненно, не считал бы совместимым с этой справедливостью передачу заключенного на суд присяжных, а затем предание его мечам своих солдат; равно как и не согласующееся с его мудростью вооружать неистовые страсти толпы властью государства. Поэтому это оружие, эти офицеры и солдаты возвещают нам не опасность, а защиту; они побуждают нас быть не только

спокойными, но и уверенными в себе; они обещают мне не только поддержку в мольбах о защите, но и молчание, чтобы к нему прислушались. Что касается остальной аудитории, поскольку она состоит из мирных граждан, все, я знаю, на нашей стороне; и нет ни одного человека среди всей этой толпы, которую вы видите, занимающей все места, откуда можно увидеть этот суд, наблюдающей в тревожном ожидании результата этого судебного процесса, который, одобряя смелость подсудимого, не чувствовал бы также, что судьба его самого, его детей и его страны зависит от исхода сегодняшнего дня".

После изощренного аргумента в доказательство того, что убийство Клодия Милоном было совершено в целях самообороны или, на худой конец, что это была участь, которую он вполне заслужил как враг общества, он заканчивает свою речь пафосом, которым всегда восхищались:

"Я хотел бы, чтобы на то была воля небес — если я могу сказать это со всем почтением к моей стране, ибо я боюсь, что мой долг перед моим клиентом может заставить меня сказать что-то нелояльное по отношению к ней - я хотел бы, чтобы Публий Клодий был не только жив, но и был претором, консулом, даже диктатором до того, как мои глаза увидели это зрелище! Но что говорит Мило? Он говорит как храбрый человек, которого вы обязаны защищать — "Не так, ни в коем случае", — говорит он. "Клодий встретил ту участь, которую он вполне заслужил: я готов, если это необходимо, встретить ту, которой я не заслуживаю". ... Но я должен остановиться; я больше не могу говорить из-за слез; а слезы - это аргумент, который он презрел бы в свою защиту. Я умоляю вас, я заклинаю вас, вы, сидящие здесь на суде, что в своем вердикте вы осмеливаетесь высказать то, что, я знаю, вы чувствуете".

Но призыв был напрасен, или, скорее, насколько мы можем установить, так и не был подан, — по крайней мере, в таких сильных выражениях, в каких мы его читаем. Великий адвокат был совершенно ошеломлен представшей перед ним сценой, занервничал и совершенно сбился с толку в своей речи в защиту. Это присутствие военной силы под командованием Помпея — человека, в котором он видел, как он надеялся, доброго гения Рима, — внушало ему благоговейный трепет и беспокоило его. Речь, которую мы читаем, почти наверняка является не той, которую он произнес, а, как и в предыдущем случае с Верресом, законченной и тщательно продуманной композицией его более спокойных часов. Милон был осужден подавляющим большинством голосов; на самом деле, не может быть никаких сомнений в том, что он был юридически виновен, какой бы политической целесообразностью ни оправдывался его поступок в глазах Цицерона и его партии. Катон был членом жюри и сделал все возможное, чтобы добиться оправдательного приговора, открыто продемонстрировав свой бюллетень для голосования коллегам-присяжным с тем презрением к "свободе молчания", которое он разделял с Цицероном.

Мило избежал худшего наказания, сразу же отправившись в добровольное изгнание в Марсель. Но он проявил больше практической философии, чем его защитник; говорят, что, когда он читал речь в изгнании, он заявил, что "ему повезло, что она не была произнесена, иначе он никогда бы не узнал вкуса марсельской красной кефали".

Смещение Клодия стало избавлением, с которым Цицерон не переставал поздравлять себя. Та "битва при Бовиллах", как он ее называет, стала эпохой в его ментальных записях, имевшей лишь меньшее значение, чем его консульство. Его собственная общественная жизнь продолжала быть почетной и успешной. Он был избран в Коллегию авгуров - честь, которой он давно желал; и он был назначен в правительство Киликии. Это последнее было величием,

буквально "навязаннымему", и от которого он с радостью отказался бы, поскольку оно увезло его в те насыщенные событиями дни из его любимого Рима; и к этим грандиозным возможностям обогащения он был, как уже было сказано, благородно равнодушен. Назначение в отдаленную провинцию было, по сути, для такого человека, как Цицерон, немногим лучше почетной формы изгнания: это было все равно что присвоить человеку, который был и мог надеяться однажды снова стать премьер-министром Англии, пост генерал-губернатора Бомбея.

Единственное утешение, которое он нашел, придя к своему новому правительству, — то, что даже в самых отдаленных уголках Киликии были люди, которые слышали о "консуле, спасшем Рим". И снова изумленные провинциалы дивились губернатору, который смотрел на них как на людей, обладающих собственными правами, и не грабил и не обращался с ними дурно. Он также провел небольшую войну с несколькими беспокойными горными племенами (поручив командование главным образом своему брату Квинту, который с отличием служил под началом Цезаря в Галлии) и одержал победу, которую его легионы сочли достаточно важной, чтобы приветствовать его почетным титулом "император". Такие военные почести особенно лестны для людей, которые, подобно Цицерону, по природе своей являются гражданскими лицами; а для тщеславия Цицерона они были вдвойне приятны. К несчастью, они заставили его тешить себя надеждами на дальнейшую славу триумфа; и этого, если бы не последовавшая за этим революция, он, возможно, и добился бы. Как бы то ни было, единственным результатом было его шествие с ним повсюду, из города в город, в течение нескольких месяцев после его возвращения, ликторов с увенчанными лаврами фасциями, что предвещало триумф, — помпезное обременение, ставшее, по его признанию, главной темой для злобных шутов и значительным неудобством для него самого.

ГЛАВА V.

ЦИЦЕРОН И ЦЕЗАРЬ.

Теперь будущий повелитель Рима возвращался домой после почти десятилетнего отсутствия во главе победоносных легионов, с которыми он наводил ужас на германцев, наводнил всю Испанию, оставил свой след в Британии и "умиротворил" Галлию. Но Цицерон, как и большая часть сенаторской партии, не смог разглядеть в Юлии Цезаре великого человека, каким он был. Он немного колебался — Цезарь с радостью заручился бы его поддержкой и сделал ему справедливые предложения; но когда Рубикон был перейден, он связал свою судьбу с Помпеем. Несомненно, отчасти на него повлияла личная привязанность: Помпей, по-видимому, был в какой-то степени очарован его слабостью. Он знал нерешительный характер Помпея и признавался, что Цезарь был "чудом энергии"; но хотя первый не выказывал к нему особой симпатии, он тем не менее цеплялся за него. Он предвидел, что, как бы ни закончилось состязание, "результатом, несомненно, будет деспотизм". Он предвидел, что истинные замыслы Помпея были столь же опасны для свобод Рима, как и все, в чем можно было заподозрить Цезаря. "*Sullaturit animus*", — говорит он о нем в одном из своих писем, употребляя глагол для выражения своей идеи — "он хочет быть похожим на Суллу". И это было не более чем правдой. Впоследствии он узнал, как он рассказывает Аттику, что Помпей и его сторонники составили проскрипционные списки всех сторонников Цезаря и что имя его старого друга фигурировало в числе жертв. Только это позволяет простить его за то слабое чувство, которое он проявил, услышав о жалком конце Помпея.

Поведение и мотивы Цицерона в ходе этого богатого событиями кризиса обсуждались снова и снова. Может возникнуть вопрос, находимся ли мы на данный момент в каком-либо положении, чтобы выносить о них более чем очень осторожное и общее суждение. Нам нужны все "государственные документы" и политическая переписка того времени — не только письма Цицерона, но и письма Цезаря, Помпея и Лентула, и еще много другой информации, которую никогда не доверяли ни перу, ни бумаге, — чтобы с какой-либо точностью описать курс, который мог бы избрать действительно бескорыстный патриот. Но, кажется, нет особых оснований обвинять Цицерона в двурушничестве или урезании в худшем смысле этого слова. Его политика, несомненно, от начала до конца была политикой целесообразности. Но целесообразность является и должна быть в большей или меньшей степени лозунгом государственного деятеля. Если он хочет практически служить своей стране, он должен в какой-то степени делать то, о чем заявлял Цицерон, — заводить друзей с теми, кто стоит у власти. "*Sic vivitur*" — "Так устроен мир"; "*Tempori serviendum est*" — "Мы должны подчиняться обстоятельствам" - это не самые благородные девизы, но они постоянно используются самыми уважаемыми людьми в общественной и частной жизни, которые не открывают свои сердца друзьям так безоговорочно, как Цицерон своему другу Аттику. Ему казалось, что это выбор между Помпеем и Цезарем; и он, вероятно, надеялся, что сможет настолько повлиять на первого, чтобы сохранить для Рима какую-то тень конституции. Что он видел в этих "отбросах Республики", [1] как он сам это называет, того, что стоило сохранить; — как любой честный деспотизм мог казаться ему более страшным, чем эта проституированная свобода, — это труднее понять. Замечание Абекена, похоже, очень близко к истине — "Его преданность содружеству была основана не столько на его убежденности в его реальных достоинствах, сколько на его пригодности для демонстрации его собственных способностей".

[Сноска 1: "*Faex Romuli*".]

Но это государство нельзя было спасти даже по названию. Через два месяца после того, как его объявили врагом общества, вся Италия была у ног Цезаря. Не прошло и года, как произошла битва при Фарсалии, и великий Помпей лежал обезглавленным трупом на морском берегу в Египте. Цицерону, который до сих пор оставался верен судьбе своей партии, а затем находился в их лагере при Диррахии, было предложено принять главное командование, но у него хватило ума отказаться; и хотя люди называли его "предателем" и обнажали против него мечи, он отказался от дела, которое, как он видел, было проиграно, и вернулся в Италию, хотя и не в Рим.

Встреча между ним и Цезарем, которая наконец состоялась, развеяла все личные опасения с этой стороны. Цицерон, по-видимому, не совершил никакого бесчестного подчинения, и поведение завоевателя было благородным забвением прошлого. Постепенно они сблизились почти по-дружески. Оратор расточал диктатору комплименты в сенате и обнаружил, что в частном обществе его любимые шутки повторялись в адрес великого человека и были высоко оценены. Теперь ему приходилось довольствоваться такими небольшими успехами. Он снова поселился в Риме, но его политические занятия прекратились, и у его деятельного ума появилось свободное время, чтобы заняться некоторыми литературными произведениями.

Именно в это время на него обрушился удар, который поверг его на время ниц, как и его изгнание, и к которому он испытывает наше гораздо более естественное сочувствие. Его дорогая дочь Туллия, снова вышедшая замуж, но несчастливо, и только что разведенная, умерла на его тускуланской вилле. Их любовные отношения не претерпели никаких изменений

по сравнению с ее детством, и его горе какое-то время было безутешным. Он заперся на тридцать дней. Письма с соболезнованиями от благонамеренных друзей были обращены к нему — как это часто бывает — как речи трех утешителей к Иову. Напрасно он обращался, как он патетически говорит, за утешением к философии.

Именно в это время он написал два своих философских трактата, известных нам как "Истинные цели жизни" [1] и "Тускуланские диспуты", о которых подробнее будет сказано ниже. В этом последнем, который он назвал по имени своего любимого загородного дома, он обратился к темам, которые лучше всего соответствовали его собственному печальному настроению после недавней тяжелой утраты. Как люди могли бы научиться избавляться от ужасов смерти — нет, смотреть на нее скорее как на избавление от боли и зла; как лучше всего переносить боль, душевную и телесную; как мы можем умерять свои страсти; и, наконец, не является ли практика добродетели самодостаточной для нашего счастья.

[Сноска 1: "De Finibus Bonorum et Malorum" — название труднопереводимое.]

Философ не всегда находит в себе готового ученика. Вряд ли это было так в случае Цицерона. Его аргументы были неопровержимы; но он обнаружил, что они, к сожалению, подводят его в практическом применении к жизни. Он так и не смог избавиться от страха смерти, который ощущал в какой-то степени необычно ярко для римлянина. Впоследствии он, как и прежде, искал своего счастья скорее в захватывающей борьбе общественной жизни, чем в особом культивировании какой-либо формы добродетели; и он даже не нашел средства от своего нынешнего домашнего горя ни в одном из тех общих моральных размышлений, которые философия, как христианская, так и языческая, с такой готовностью приводит в подобных случаях; все они столь неоспоримы и столь совершенно невыносимы для скорбящего.

Цицерон нашел свое утешение, или то отвлечение мыслей, которое так милосердно служит цели утешения, там, где большинство людей с таким активным умом, как у него, ищут его и находят — в тяжелой работе. Литературные усилия по написанию и завершению только что упомянутых произведений, вероятно, успокоили его разум больше, чем все аргументы, которые они содержали. Он возобновил свою адвокатскую практику настолько, что стал отстаивать свое дело перед Цезарем, ныне правящим в Риме в качестве диктатора, — последнее дело, на которое ему когда-либо приходилось ссылаться. Это было не слишком важное дело — защита Дейотара, титулованного царя Армении, которого обвинили в том, что он замышлял покушение на жизнь Цезаря, когда принимал его в качестве гостя в своем дворце. Диктатор приберег свое суждение до тех пор, пока ему не следовало начинать кампанию против парфян. Это более удобное время года так и не наступило, ибо еще до начала весенней кампании роковые "мартовские иды" оборвали триумфы Цезаря и его жизнь.

ГЛАВА VI.

ЦИЦЕРОН И АНТОНИЙ.

Цицерону оставалось принять участие еще в одной великой национальной борьбе — последней для Рима и для него самого. Несомненно, было какое-то величие в деле, которое он вновь так энергично отстаивал, — в восстановлении свобод Рима. Но все громы красноречия Цицерона и все восхищение современных историков и поэтов не могут заручиться нашими искренними симпатиями к убийцам Цезаря. Это "посвящение кинжала" делу свободы с тех пор породило слишком много зла, чтобы сделать его использование чем-то иным, кроме ненависти. То, что

Цицерон был среди настоящих заговорщиков, вероятно, неправда, хотя его враги настойчиво утверждали это. Но, по крайней мере, он наслаждался содеянным и горел желанием присвоить себе все почести тираноубийцы. Более того, он зашел дальше, чем действительные заговорщики, по крайней мере, на словах; любопытно, что он так тщательно отрицает свою причастность к этому деянию. "Если бы ты пригласил меня на тот банкет в мартовские иды! тогда бы от пира не осталось никаких остатков", — пишет он Кассию. Во всяком случае, он обратил бы их кинжалы не только на Цезаря, но и на Антония. Он желает, чтобы "боги прокляли Цезаря после его смерти", заявляя при этом о вере в будущее возмездие, к которому в другое время он относился скептически. Вполне уместно вспомнить все это, когда народная волна переломилась, и он сам стал объектом политической мести. Легкомыслие, с которым он постоянно говорит об убийстве Цезаря — человека, который, во всяком случае, никогда не относился к нему иначе, чем с благородной снисходительностью, — ложится пятном на характер Цицерона, что признают его самые горячие апологеты.

Кровавое деяние в Капитолии было совершено — деяние, которое должно было обернуться почти тем, что назвал Гете, — "самым абсурдным из когда-либо совершенных". Великий диктатор, который лежал там в одиночестве, "истекающий кровью кусок земли", покинутый теми самыми людьми, которые в последнее время стремились короновать его, был, возможно, самым подходящим хозяином Рима; конечно, не худшим из многих, у кого личные амбиции заняли место принципов. Трое рабов подняли мертвое тело своего хозяина и отнесли его домой. Бедняги! они ничего не знали ни о свободе, ни о конституции; им было мало на что надеяться и, вероятно, мало чего бояться; у них был только скромный долг, и они его выполнили. Но когда мы читаем о них и о том вольноотпущеннике, который незадолго до этого сидел у мертвого тела Помпея, пока не смог собрать обломки с берега, чтобы поджечь что-то вроде жалкой погребальной кучи, мы с содроганием отвращения возвращаемся к тем "благородным римлянам", которые в это время занимают передний план истории.

Цезарь был смещен, но очевидно, что у Брута, Кассия и их сторонников не было ни способностей, ни энергии, чтобы как-то по-настоящему использовать свой кровавый триумф. Цицерон вскоре потерял всякую надежду увидеть в них освободителей своей страны или быть способным самостоятельно руководить революцией, начало которой, как он надеялся, он видел. "Мы были освобождены, — пишет он Аттику, — но мы не свободны". "Мы свергли тирана, но тирания выживает". Антоний, по сути, занял место Цезаря в качестве хозяина Рима — перемена во всех отношениях к худшему. Он окружил себя охраной; получил от Сената полномочия выполнять все указы и распоряжения, оставленные покойным диктатором; и когда он не смог найти среди записных книжек Цезаря материалов, которые служили бы его целям, он, не колеблясь, подделал их. Цицерон не обладал властью и мог подвергаться личной опасности, поскольку Антоний знал его отношение к государственным делам в целом и к самому себе в частности. Рим больше не был для него местом, и вскоре он покинул его — на этот раз в добровольном изгнании. Он скитался с места на место и, как и прежде, пытался найти интерес и утешение в философии. Именно тогда он написал свои очаровательные эссе о "Дружбе" и о "Старости", а также завершил свою работу "О природе богов" и работу "Прорицание". Его трактат "De Officiis" (разновидность языческого "Общего долга человека") также относится к этому времени, как и некоторые более мелкие философские работы, которые были утрачены. Он заявил, что не верит в будущее своей страны и испытывает отвращение к политической жизни, и говорил о том, что собирается закончить свои дни в Афинах.

Но, как прежде и всегда, его сердце было на Римском форуме. Политическая жизнь была действительно единственной атмосферой, в которой он чувствовал, что дышит полной грудью. Несомненно, он также обладал искренним патриотизмом, который привлек бы его обратно на сторону своей страны в любое время, когда он поверил бы, что она нуждается в его помощи. Ему сказали, что он сейчас нужен там; что есть надежда, что дела дела свободы пойдут лучше; что Антоний приходит к какому-то соглашению с партией Брута, - и он вернулся.

На короткое время эти последние дни принесли с собой отблеск триумфа, почти такой же яркий, как тот, которым было отмечено свержение заговора Катилины. И снова, когда он прибыл в Рим, толпы людей бросились встречать его с комплиментами и поздравлениями, как это было примерно тринадцать лет назад. И поскольку его последние дни были потрачены на то, чтобы изо всех сил сопротивляться самому низкому из всех римских злодеев, они были для него важнее любого триумфа. С тех пор между ним и Антонием шла битва не на жизнь, а на смерть; пока Антоний был жив, Риму не могло быть свободы. Цицерон предоставил своему врагу самому напасть первым. Вскоре это произошло. Через два дня после его возвращения Антоний яростно выступил в сенате против него по поводу внесения резолюции о том, что Цезарю должны быть возданы божественные почести. Цицерон намеренно остался в стороне, сославшись на усталость после путешествия; на самом деле, потому что такое предложение было ему отвратительно. Антоний назвал его трусом и предателем и пригрозил послать людей, чтобы снести его дом у него на голове — тот дом, который когда-то уже был снесен и восстановлен для него его раскаявшимися согражданами. На следующий день Цицерон отправился в Сенат и произнес там хорошо подготовленную речь, первую из тех четырнадцати, которые известны нам как его "Филиппики" — название, которое он, по-видимому, впервые дал им в шутку, в память о тех, которые его любимый образец Демосфен произнес в Афинах против Филиппа Македонского. Он защищал свое собственное поведение, в резких, но умеренных выражениях проанализировал всю политику Антония и предостерег его — все еще якобы как друга — от участия Цезаря. Говоривший не отдавал себе отчета в том, какими могут быть его собственные слова.

"Я уже достаточно пожал плодов своего возвращения домой, сенаторы, поскольку у меня была возможность произнести слова, которые, что бы ни случилось, останутся свидетельством моего постоянства в исполнении моего долга, и вы выслушали меня с большой добротой и вниманием. И этой привилегией я буду пользоваться так часто, как только смогу, без опасности для вас и для себя; когда я не смогу, я буду осторожен с самим собой, не столько ради себя, сколько ради своей страны. Для меня жизнь, которую я прожил, кажется уже почти достаточно долгой, независимо от того, смотрю ли я на свои годы или на свои почести; тот небольшой промежуток, который еще можно к ней добавить, должен быть выгоден вам и государству гораздо больше, чем мне самому".

Антония не было в доме, когда Цицерон говорил; он уехал на свою виллу в Тибуре. Там он оставался две недели, размышляя над своим ответом — как говорили, брал уроки у профессоров по искусству риторической самозащиты. Наконец он приехал в Рим и ответил своему оппоненту. Его речь до нас не дошла; но мы знаем, что в ней содержались старые обвинения в том, что он предавал смерти римских граждан без суда по делу подстрекателей Катилины и в подстрекательстве Милона к убийству Клодии. Антоний добавил новое обвинение — в пособничестве убийцам Цезаря. Прежде всего, он смеялся над старыми попытками Цицерона стать поэтом; способ нападок, который если и не вызывал такой тревоги, то, по

крайней мере, вызывал такое же раздражение, как и все остальные. Цицерона при этом не было — он опасался личного насилия, поскольку Антоний, как и Помпей на процессе Милона, выставил вооруженную охрану из своих людей снаружи и внутри здания Сената. Прежде чем Цицерон набрался смелости ответить, Антоний покинул Рим, чтобы встать во главе своих легионов, и больше они никогда не встречались.

Ответом, когда он пришел, была ужасная вторая филиппика; однако ее так и не произнесли вслух, а только передали в рукописи восхищенным друзьям. Как замечает м-р Лонг, нет никаких сомнений в том, что у Антония был также какой-то друг, достаточно любезный, чтобы прислать ему экземпляр; и если мы можем доверять римскому поэту Ювеналу, который, по крайней мере, был так же хорошо информирован по этому вопросу, как и любой современный историк, это сочинение в конечном итоге стоило оратору жизни. Нетрудно понять горькую мстительность Антония. Цицерон был не просто политическим противником; он атаковал его личную жизнь (которая давала множество оснований для такой атаки) со всем ядом своего красноречия. Действительно, в первой из этих мощных речей он сказал, что никогда не придерживался этой линии.

"Если я оскорбил его частную жизнь и репутацию, я не имею права жаловаться, если он мой враг; но если я всего лишь следовал своему обычаю, которого я всегда придерживался в общественной жизни, — я имею в виду, если я только свободно высказывал свое мнение по общественным вопросам, — тогда, во-первых, я протестую против того, чтобы он вообще сердился на меня: или, если этого ожидать слишком сложно, я требую, чтобы он сердился на меня только как на согражданина".

Если до сих пор со стороны Цицерона и была какая-то скрытность по этому вопросу, то он восполнил ее во второй речи. Ничто не может сравниться с его горькой индивидуальностью, за исключением, возможно, его риторической силы. Он начинает атаку с заявления, что не расскажет всего, что знает — "для того, чтобы, если нам снова придется сражаться, я мог всегда идти в атаку свежеевооруженным; преимущество, которое в значительной степени дает мне множество преступлений и пороков этого человека". Затем он продолжает:

- В таком случае, хотели бы вы, чтобы мы изучили ваш жизненный путь с детства? Я заключаю, что вы бы этого хотели. Ты помнишь, что до того, как облачиться в мужское одеяние, ты был банкротом? Ты скажешь, что в этом виноват мой отец. Я согласен с этим — это защита, которая красноречиво говорит о твоих сыновних чувствах. Однако именно ваше собственное бесстыдство заставило вас занять свое место в рядах благородных рыцарей, тогда как по закону банкротам отведено определенное место, даже если они стали банкротами по вине фортуны, а не по своей вине. Ты надел халат, который должен был подчеркивать твою мужественность, — на тебе он стал щегольским снаряжением блудницы".

Нежелательно повторять за оратором некоторые из его обвинений; когда ему приходилось ударить плетью человека, которого он считал преступником, его не очень заботило, куда и как он бьет. Он даже сам замолкает — после того, как наговорил много лишнего.

"Есть некоторые вещи, о которых даже порядочный враг стесняется говорить Затем отметьте его дальнейший жизненный путь, который я прослежу так быстро, как только смогу. Ибо, хотя эти вещи известны вам лучше, чем даже мне, все же я прошу вас выслушать меня со вниманием — что вы на самом деле и делаете; ибо правильно, что в таких случаях чувства людей должны

пробуждаться не просто знанием фактов, но и напоминанием о них; хотя мы должны сразу же, я полагаю, перейти к середине его истории, чтобы не слишком долго добираться до конца ".

Речь благородна и исполнена достоинства, в лучшем стиле оратора. Он все еще полагает, что обращается к своему врагу. Он предупредил Антония, что судьба цезаря может постигнуть и его, и он не отдает себе отчета в опасности, которой может подвергнуться его собственная жизнь.

"Но посмотри на себя — я скажу тебе, каково это для меня. Я защищал Содружество, когда был молод, — я не покину его и теперь, когда я стар. Я презирал мечи Катилины — вряд ли я буду трепетать перед твоими. Нет, я с радостью отдам свою жизнь, если моей смертью будет обеспечена свобода Рима, чтобы эта страдающая нация могла наконец дать рождение тому, что она так долго взращивала. [1] Если двадцать лет назад я заявлял в этом доме, что о смерти человека, бывшего римским консулом, никогда нельзя сказать, что она пришла раньше времени, то насколько же больше правды я могу сказать сейчас, в моем возрасте! Для меня, действительно, господа из Сената, смерть вполне может быть даже желанной вещью, когда я сделаю то, что я сделал, и пожну заслуженные почести. У меня есть только два желания: первое, чтобы после моей смерти я мог оставить римский народ свободным — бессмертные боги не могут дать мне большего блага, чем это; второе, чтобы каждый гражданин мог получить такую награду, какой, возможно, заслуживало его поведение по отношению к государству".

[Сноска 1: Т.е. Устранение Антония.]

Публикация этой невысказанной речи вызвала на время энтузиазм против Антония, которого Цицерон теперь открыто объявил врагом государства. Он обрушивал на него филиппику за филиппикой. Призыв в конце, который идет шестым по порядку, достаточно красноречив.

"Наконец-то пришло время, сограждане; действительно, несколько запоздало для достоинства римского народа, но, по крайней мере, кризис настолько назрел, что теперь нельзя откладывать его ни на минуту дольше. У нас было одно бедствие, посланное нам, можно сказать, судьбой, которое мы перенесли — в том виде, в каком его можно было перенести. Если сейчас с нами случится что-то еще, это будет наш собственный выбор. То, что этот римский народ должен служить какому-либо хозяину, когда боги свыше пожелали, чтобы мы были хозяевами мира, является преступлением в глазах небес. Вопрос теперь стоит на последнем месте. Борьба ведется за наши свободы. Вы должны либо победить, римляне, — и это, несомненно, с таким патриотизмом и таким единодушием, какое я вижу здесь, вы должны сделать, - либо вы должны вынести все и вся, а не быть рабами. Другие народы могут терпеть ярмо рабства, но право римского народа по рождению - свобода".

Антоний покинул Рим и, подобно Катилине, бросился в объятия своих солдат в своей провинции Цизальпинская Галлия. Там он держался наперекор сенату, который в конце концов по настоянию Цицерона объявил его врагом общества. Цезарь Октавиан (внучатый племянник Юлия) предложил свои услуги государству, и с некоторыми колебаниями они были приняты. Началась последняя борьба. Вскоре поступили сведения, что Антоний потерпел поражение при Мутине от двух последних консулов республики, Гирция и Пансы. Действительно, впоследствии эта новость была опровергнута дальнейшим сообщением о том, что оба консула скончались от полученных ран. Но именно в разгар первого ликования Цицерон обратился к сенату со своей четырнадцатой Филиппикой - последней речью, которую ему предстояло произнести. На данный момент он снова почувствовал себя выдающимся человеком в Риме. Толпы ревущих

патриотов окружили его дом в то утро, с триумфом проводили его до Капитолия и обратно в его собственный дом, как они делали в дни его ранней славы. Молодой Цезарь, который оказывал ему большое личное уважение, называл себя патриотом; государство снова было в безопасности — и Цицерон почти думал, что он снова сам спас его.

Но Рим теперь принадлежал тем, у кого были легионы. Дело дошло до этого: и когда Антонию удалось объединить интересы с Октавианом (впоследствии ошибочно названным Августом) — "мальчиком", как называли его и Цицерон, и Антоний, — мальчиком в преклонных годах, но преждевременным в коварстве и лжи, — который пришел "потребовать свое наследство" и преуспел в пробуждении в старых ветеранах своего дяди желания отомстить его убийцам, судьба республики и Цицерона была решена.

Именно на небольшом острове, образованном рекой Рено, недалеко от Болоньи, Антоний, юный Цезарь и Лепид (номинальный третий в так называемом Втором триумvirате) встретились, чтобы договориться между собой о разделе власти и о том, что они считали необходимым для закрепления этого на будущее — изгнании нескольких их врагов. Нельзя было допустить, чтобы какие-либо личные привязанности или интересы вмешивались в это безжалостное соглашение. Если Лепид откажется от своего брата, Антоний откажется от несносного дяди. Октавиан принес меньшую жертву в лице Цицерона, которого Антоний, мы можем быть уверены, с этими ужасными Филиппиками, звеневшими у него в ушах, потребовал с жадностью отомстить. Вскоре все было улажено мирным путем; были составлены проскрипционные списки, и Триумvirат занял Рим.

Цицерон и его брат, чье имя — как известно, также значилось в списке погибших, слышали об этом, когда были вместе на тускуланской вилле. Оба немедленно приняли меры к побегу. Но Квинту пришлось вернуться в Рим, чтобы раздобыть денег на их перелет и, как оказалось, забрать своего сына. Эмиссары Триумvirата были отправлены с обыском в дом: отец спрятался, но сын был схвачен и, отказываясь давать какие-либо сведения, подвергнут пыткам. Его отец услышал его крики агонии, вышел из своего укрытия и попросил только, чтобы его сначала предали смерти. Сын, в свою очередь, обратился с той же просьбой, и убийцы были настолько милосердны, что убили обоих сразу.

Сам Цицерон мог бы еще спастись, если бы не какая-то его старая нерешительность. Он поднялся на борт небольшого судна с намерением присоединиться к Бруту в Македонии, как вдруг передумал и настоял на том, чтобы его снова высадили на берег. Он бродил по округе, наполовину решившись (в третий раз) на самоубийство. Он отправится в Рим, зарежет себя на алтаре в доме юного Цезаря и призовет кару небес на предателя. Отчеты об этих последних часах его жизни, к сожалению, несколько противоречивы, и ни на кого из авторитетов нельзя полностью положиться; Абекен предпринял осторожную попытку привести их в соответствие, чему здесь лучше всего будет следовать.

Побуждаемый молитвами своих рабов, верных приверженцев доброго хозяина, он еще раз сел на корабль и еще раз (по словам Аппиана, из-за морской болезни, которой он никогда не переносил) высадился близ Кайеты, где у него была вилла на берегу моря. Либо там, либо, как говорят другие источники, в своем доме в Формии, он лег, чтобы провести ночь и дожждаться смерти. "Дайте мне умереть, - сказал он, - в моей собственной стране, которую я так часто спасал". Но снова верные рабы разбудили его, силой усадили в носилки и поспешили через лес к берегу моря, ибо убийцы гнались за ним по горячим следам. Они нашли его дом запертым, но

какой-то предатель указал им короткий путь, по которому можно было догнать беглеца. Когда он лежал, читая (как говорят), даже в эти тревожные минуты, пьесу своего любимого Еврипида, каждая строка которого, как он утверждал, содержала какую-нибудь сентенцию, достойную запоминания, он услышал приближающиеся шаги и приказал поставить носилки. Он выглянул и узнал во главе отряда офицера по имени Ленас, которого он когда-то успешно защищал в смертельной атаке; но он не увидел на его лице ни благодарности, ни милосердия, хотя были и другие в отряде, которые прикрыли глаза от жалости, когда увидели растрепанные седые волосы и бледные изможденные черты великого римлянина (ему исполнилось месяц назад шестьдесят четыре). Он повернулся от Ленаса к центуриону, некоему Хереннию, и сказал: "Бей, старый солдат, если ты понимаешь свое дело!" При третьем ударе — одного или другого из этих офицеров, поскольку оба претендовали на зловещую честь, — его голова была отсечена. Они отнесли его прямо Антонию, где он сел на судейское место на Форуме и потребовал предложенную награду. Триумвир, к своей радости, выплатил ее в десятикратном размере. Он послал окровавленный трофей своей жене; и римлянка Иезавель плюнула в мертвое лицо и проткнула своим телом язык, который произнес эти дерзкие и горькие истины против ее лживого мужа. Великий оратор почти дословно исполнил слова, которые, говоря о свободе защитника, он вложил в уста Красса — "Ты должен отрезать этот язык, если хочешь ограничить мою свободу слова; более того, даже тогда само мое дыхание должно протестовать против твоей жажды власти". Затем голова по приказу Антония была прибита к Ростре, чтобы говорить там красноречивее, чем когда-либо говорили живые уста, о мертвой свободе Рима.

ГЛАВА VII.

ПЕРСОНАЖ КАК ПОЛИТИК И ОРАТОР.

Цицерон в значительной степени разделял чувство, общее для всех честолюбивых и энергичных людей, — желание хорошо зарекомендовать себя не только среди своего поколения, но и среди потомков. Это чувство естественно для каждого человека, который знает, что его имя и деяния обязательно должны войти в историю. Если в случае с Цицероном это более чем обычно очевидно, то только потому, что в его письмах к Аттику мы имеем более чем обычный доступ к сокровенным тайнам сердца автора; ибо, несомненно, такая тщательно конфиденциальная переписка никогда не публиковалась ни до, ни после. "Что скажет обо мне история через шестьсот лет?" спрашивает он, не скрывая этого от своего друга. Прошло более трехсот лет, а в случае с Цицероном история еще не приняла окончательного решения. Его восхваляли и оскорбляли, начиная с его собственных времен и до настоящего времени, в выражениях столь экстравагантных, какие можно найти в самых страстных из его собственных речей; и его обвинители, и его защитники легче уловили уловку его риторического преувеличения, чем его красноречие. Современные немецкие критики, такие как Друманн и Моммзен, нападали на него с едва ли меньшей горечью, хотя и с большей порядочностью, чем на историка Диона Кассия, который жил так близко к своему времени. Епископ Миддлтон, с другой стороны, в тех приятных и всеобъемлющих томах, которые и по сей день являются огромным хранилищем материалов для биографии Цицерона, так же слеп к его недостаткам, как если бы он сам произносил панегирик с Римской трибуны. Возможно, именно пристрастность взглядов ученого епископа вызвала реакцию в умах скептически настроенных немецких ученых и некоторых наших современных авторов. Невозможно в какой-то степени не посочувствовать тому афинянину, который устал постоянно слышать, как Аристиды превозносят как "Справедливого"; и, безусловно, у критиков было сильное искушение найти изъяны в

характере человека, перед которым постоянно, при жизни и в течение восемнадцати столетий после его смерти, звучала труба, возвещающая о нем как о князе патриотов, так и философов; действительно достойном, как считал Эразм, быть канонизированным как святой католической церкви, если бы не единственный недостаток - он не был христианином.

С одной стороны, некоторые из его восхвалений кажутся явно несправедливыми. Они говорят, что обстоятельства, при которых мы составляем наше суждение об этом человеке, исключительны в том смысле, что мы случайно располагаем всей этой массой частных и конфиденциальных писем (до нас дошло почти восемьсот его собственных писем), которые дают нам представление о его личных мотивах, его тайной ревности, надеждах, страхах и амбициях, о которых в случае с другими людьми мы не имеем такого откровения. Это совершенно верно; но его защитники забывают, что именно с тех же страниц, которые раскрывают его слабости, они черпают истинное знание о многих из тех качеств, которыми они больше всего восхищаются — его искренней любви к своей стране, его доброте сердца, его дружелюбии во всех отношениях в семье. Это правда, что мы не можем заглянуть в личные письма Цезаря, Помпея или Брута, как мы можем заглянуть в письма Цицерона; но не так уж очевидно, что, если бы мы могли, наша оценка их характеров была бы понижена. Мы могли бы обнаружить, в ихслучаях, как и в его случае, много следов того, что кажется неискренностью, робостью, желанием плыть по течению; мы могли бы обнаружить, что взгляды, которые они выражали публично, не всегда были теми, которых они придерживались наедине; но мы также могли бы обнаружить внутреннее течение доброты, доброжелательности и нежности сердца, в чем мир им мало верит. Один восторженный защитник, Виланд, заходит так далеко, что желает, чтобы такого рода доказательства в случае такого человека, как Цицерон, были "состряпаны", выражаясь современным языком: чтобы мы могли иметь лишь разумную выборку из этой слишком правдивой массы корреспонденции; чтобы его секретарь Тирон или какой-нибудь разумный друг уничтожил всю пачку писем, в которых великий римлянин оплакивал себя во время своего изгнания из Рима своей жене, брату и Аттику. Партизанский метод написания истории, хотя и часто применяемый, редко когда провозглашался так смело.

Но нельзя отрицать, что если мы слишком много знаем о Цицероне, чтобы судить о нем только по его общественной жизни, как мы вынуждены делать со столь многими героями истории, то мы также слишком мало знаем о тех бурных временах, в которые он жил, чтобы слишком строго судить о его поведении в таких трудных обстоятельствах. Истинные отношения между различными партиями в Риме, как мы попытались их обрисовать, по общему признанию, озадачивают даже внимательного исследователя. И без досконального понимания этого невозможно с какой-либо надеждой на справедливость судить о поведении Цицерона как патриота и политика. Его характер был полон противоречивых элементов, как и время, в которое он жил, и неизбежно в значительной степени формировался ими. Эгоизм, который так явно проявляется в его публичных выступлениях и в его частных сочинениях, не раз наживал ему личных врагов и доставлял неприятности, хотя и сочетался с большой добротой сердца и вниманием к другим. Он ясно видел правильное и желал следовать ему, но его благие намерения слишком часто рушились из-за недостатка твердости и решительности. Его желание ладить с людьми всех партий до тех пор, пока это казалось возможным (и это было вызвано не столько желанием самовозвеличивания, сколько надеждой с их помощью послужить содружеству), не раз подвергало его обвинению в неискренности.

Есть одно всеобъемлющее качество, которого, можно сказать, недоставало его натуре, которое омрачало многие его достоинства, постоянно ставило его в ложное положение и даже в его восхитительных письмах время от времени вызывает у читателя нетерпеливое чувство презрения. Он хотел мужественности. В его время это качество быстро угасало даже среди лучших представителей роскошной и коррумпированной аристократии Рима. Возможно, те из его современников, которые знали и любили его больше всего, мало что упустили из виду в его характере. Но без этого качества, по мнению англичанина, трудно распознать в любом человеке, каким бы блестящим и дружелюбным он ни был, истинного философа или героя.

Взгляды, которых придерживался этот великий римский политик по щекотливому вопросу о голосовании, существенно не отличались от взглядов его достойного деда, упомянутого выше.

[1] Избирательный бюллетень был популярен в Риме — по многим причинам, некоторые из них не самые похвальные для характеров избирателей; и поскольку он был популярен, Цицерон иногда говорит о нем в своих судебных речах со сдержанной похвалой; но в его реальной оценке этого не может быть никаких сомнений. "Сейчас я придерживаюсь того же мнения, - пишет он своему брату, - что и всегда; ничто не сравнится с открытым голосованием уст".

Поэтому в одной из своих речей он использует еще более резкие формулировки:

"Избирательный бюллетень, - говорит он, — позволяет людям открывать свои лица и скрывать свои мысли; он дает им право обещать все, что от них потребуют, и в то же время делать все, что им заблагорассудится". Мистер Гроте однажды процитировал фразу Цицерона, приложенную к бюллетеням для голосования того времени, как свидетельство в пользу этого способа тайного голосования — громкие слова, совершенно непередаваемые ни на какой соответствующий английский: "*Tabella vindex tacitae libertatis*". "скрижаль, гарантирующая свободу молчания". Но, зная так же хорошо, как Цицерон, каков был обычный характер римских присяжных и римских избирателей, и как часто эта "свобода молчания" была свободой брать взятку и голосовать по-другому, можно почти представить, что мы видим на его губах, когда он произносит звучащую фразу, ту игривую иронию, которая, как говорят, была их характерным выражением. [2] Мистер Грот также забыл, как хорошо указал один автор в "Ежеквартальном обзоре", [3] что уже в следующем предложении оратор с гордостью хвастается, что он сам не был избран на этот пост, а "живыми голосами" своих сограждан.

[Сноска 1: см. стр. 3.]

[Примечание 2: Не известно ни одного бюста, монеты или драгоценного камня, на которых было бы изображено какое-либо подлинное изображение Цицерона. Существует несколько претендующих на это, но все они более или менее апокрифичны.]

[Сноска 3: Кварта. Откр., lxi. 522.]

Характер его красноречия можно до некоторой степени понять по нескольким приведенным выдержкам из его публичных выступлений; всегда помните, сколько его очарования неизбежно теряется из-за потери настоящего языка, в который были облечены его мысли. Возможно, почти столько же мы потеряли и в другом смысле, в том, что можем только читать великого оратора, вместо того чтобы слушать его. И все же, в конце концов, возможно, что эта потеря для нас не так велика, как может показаться. Как мы знаем, некоторые из его лучших речей — например, против Верреса и в защиту Мило - были написаны в тайне и вообще никогда не произносились; а большинство других были переработаны и отшлифованы для публикации. Нет уверенности и в том, что его декламация, к которой некоторые из его римских соперников придирались как к

чересчур витиевату восточному стилю, пришлось бы по вкусу нашему более холодному английскому вкусу. Он рассматривал жест и действие как важнейшие элементы ораторской силы и тщательно изучал их у артистов театра. Не может быть никаких сомнений в том, что у нас есть его собственные взгляды на этот счет в словах, которые он вложил в уста своего "Брута", в трактате об ораторском искусстве, носящем это название. Он протестует против "чердачной холодности" стиля, который, по его словам, вскоре освободит скамейки от их обитателей. Он хотел, чтобы действия и осанка оратора были такими, чтобы даже далекий зритель, слишком далекий, чтобы услышать, должен был "знать, что на сцене был Росций". Французская аудитория в этом отношении показалась бы ему более симпатичной, чем английская. [1] Его собственный крайне нервный темперамент, безусловно, располагал к возбужденным действиям. Оратор, у которого, как нам рассказывают, "заметно дрожало все тело, когда он впервые начал говорить", был почти уверен, что, увлекшись своей работой, погрузится в нее со страстной энергией.

[Примечание 1: Наши ораторы, безусловно, впадают в другую крайность. Стиль жестикуляции британского оратора все еще можно узнать, с *соответствующими изменениями*, в юмористическом очерке Аддисона столетней давности: "Вы можете увидеть многих умных риториков, вертящих шляпу в руках, придающих ей несколько разных петлиц, рассматривающих иногда подкладку, а иногда пуговицу, на протяжении всей своей речи. Глухой человек подумал бы, что он обесценивает бобра, когда тот, возможно, говорит о судьбе британской нации".]

Он изложил свои собственные представления о квалификации и обязанностях публичного оратора, будь то в Сенате или коллегии адвокатов, в трех непрерывных трактатах на эту тему, озаглавленных соответственно "Об ораторском искусстве", "Брут" и "Оратор", а также в некоторых других работах, от которых до нас дошли лишь фрагменты. Первой из этих работ, которую он написал своему брату, он сам был чрезвычайно доволен, и, возможно, она до сих пор остается самой удачной, поскольку это была первая попытка свести красноречие к науке. Вторая - критический очерк великих ораторов Рима, а в третьей мы знакомимся с взглядами Цицерона на то, каким должен быть идеальный оратор. Его идеал высок и верен: он должен быть не простым ритором, не простым юристом-технарем или убежденным сторонником, а человеком с безупречным образованием и безупречным вкусом, который может говорить на все темы от полноты своего ума "разнообразно и обильно".

Хотя, как уже было сказано, он, по-видимому, придавал мало значения знанию технических аспектов права, в других отношениях его подготовка к своей работе была самой тщательной; если мы можем предположить, а мы, вероятно, можем, что именно свой собственный опыт в своем "трактате об ораторском искусстве" он вкладывает в уста Марка Антония, одного из своих величайших предшественников в римской коллегии адвокатов.

"У меня вошло в привычку, чтобы каждый клиент лично объяснял мне свой случай; я не позволяю никому другому присутствовать, чтобы он мог говорить более свободно. Затем я принимаю сторону оппонента, заставляя его отстаивать свое собственное дело и приводить любые аргументы, которые он может придумать. Затем, когда он уходит, я беру на себя, со всей возможной беспристрастностью, роль трех разных персонажей — моего собственного, моего оппонента и присяжных. Какой бы момент ни казался мне способным помочь делу, а не навредить ему, я решаю, что он должен быть выдвинут; когда я вижу, что что-либо, вероятно, принесет больше вреда, чем пользы, я отвергаю и вообще отбрасываю это в сторону. Таким

образом, я получаю то, что сначала обдумываю то, что я хочу сказать, а говорю потом; в то время как многие адвокаты, полагаясь на свои способности, пытаются сделать и то, и другое сразу". [1]

[Сноска 1: De Oratore, II. 24, 72.]

В том же трактате он читает полезный урок молодым и рьяным адвокатам — что иногда может быть разумнее вообще не касаться в ответе вопроса, который выдвигает против вашего клиента, и на который у вас нет реального ответа; и что еще важнее не говорить ничего, что может повредить вашему делу, чем опустить что-то, что, возможно, может ему послужить. Максима, которую некоторым современным адвокатам (а также некоторым проповедникам) не мешало бы иметь в виду.

И все же он не гнушался использовать то, что почти можно назвать приемами его искусства, если думал, что они помогут вынести ему вердикт. Внешнее и зримое обращение к чувствам, по-видимому, было столь же эффективным на римском форуме, как и в случае с британским жюри. Цицерон хотел, чтобы его клиент стоял рядом с ним, одетый в траур, с растрепанными волосами и в слезах, когда он намеревался патетически воззвать к состраданию присяжных; или, если позволяли обстоятельства, собиралась семейная группа — жена и дети, мать и сестры или престарелый отец, если они были презентабельны, были представлены в открытом судебном заседании, чтобы в нужный момент произвести сенсацию. Слезы, по-видимому, были у него наготове, как у красноречивого и хорошо известного генерального прокурора Англии. Более того, слезы, похоже, были отмечены, так сказать, в его отчете. "Мои чувства мешают мне сказать больше", - заявляет он в свою защиту Публия Силлы. "Я плачу, когда обращаюсь с призывом" — "Я не могу больше сдерживать слез", — повторяет он в конце этой прекрасной речи от имени Мило — речи, которая так и не была произнесена. Такие фразы напоминают нам историю, рассказанную о французском проповеднике, в рукописях которого были обнаружены сценические указания на полях: "Вот достань свой носовой платок"; "вот поплачь — если возможно". Но таковые считались законными дополнениями римского ораторского искусства, и вполне возможно предположить, что адвокат, как и многие другие современные трагики, которых можно назвать, настолько глубоко проникся духом роли, что слезы потекли вполне естественно.

Гораздо менее законным оружием ораторского искусства — наступательного, а не оборонительного — был ожесточенный и грубый характер, которому он так часто позволял себя проявлять. Его использование считалось совершенно законным на римском форуме, будь то в политических дебатах или в судебных прениях, и оно, несомненно, пришлось бы по вкусу разношерстной аудитории. Нет никаких оснований предполагать, что Цицерон прибегал к нему в какой-либо необычной степени; но он использовал его, и самым бессовестным образом. Он нападал не только на личные качества, как в случае с Антонием и Клодием, но даже на личные недостатки или особенности, которые становились предметом горьких насмешек. Он без колебаний приправил свою речь сарказмом по поводу синяка на глазу прокурора или жировика на шее подсудимого и обратил внимание суда на эти моменты, как если бы они были неопровержимым доказательством морального уродства. Наиболее ярким примером такой его практики является брань, с которой он выступил в Сенате против Пизона, который произнес речь, размышляющую о нем. Говоря об изгнании Цицерона, он сделал эту болезную тему

вдвойне болезненной, заявив, что причиной этого была не столько непопулярность Цицерона, сколько его прискорбная склонность к плохим стихам. Его звенящая реплика о том, что

"Мантия одерживает более грандиозные победы, чем меч" [1]

считалось, что это было направлено против недавних побед Помпея и спровоцировало его использовать свое влияние, чтобы избавиться от автора. Но это замечание к стихам Цицерона было не единственным проступком Пизона. Во время изгнания он был консулом и, как следует помнить, отпустил остроту, что "спаситель Рима" может спасти город во второй раз своим отсутствием. Цицерон был не из тех, кто забывает об этом. Начало его атаки на Пизона утеряно, но сохранилось вполне достаточно. Пизон был смуглым человеком, приближавшимся, вероятно, к негритянскому типу. "Зверь" — вот термин, которым Цицерон обращается к нему. "Зверь! этот рабский оттенок кожи, эти щетинистые щеки, эти обесцвеченные клыки безошибочно свидетельствуют об этом. Ваши глаза, ваши брови, ваше лицо, весь ваш облик являются молчаливым показателем вашей души". [2]

[Footnote 1: "Cedant arma togae, concedat laurea linguae".]

[Примечание 2: Подобные проявления красноречия не поощряются в современном баре. Но в прежние времена они были достаточно распространены даже в английских судах. Высказывания г-на генерального прокурора Кока в адрес Рейли на его процессе — "Ты, гадюка!" - вполне соответствуют высказываниям Цицерона. Возможно, Ирландская палата парламента, пока она существовала, представляла собой отборные современные образцы этого стиля ораторского искусства. Мистер О'Фланаган в своих "Жизнеописаниях лорд—канцлеров Ирландии" рассказывает нам, что депутат от Голуэя, напав на оппонента, когда он знал, что его сестра присутствовала во время дебатов, осудил всю семью - "от беззубой старой карги, которая сейчас ухмыляется на галерее, до трусливого негодяя, который дрожит на полу".]

В рамках этих страниц невозможно дать даже самый краткий отчет о более чем нескольких из многих причин (их двадцать четыре), по которым до нас дошли речи Цицерона, произнесенные как в защиту, так и в обвинение. Некоторые из них более привлекательны для английского читателя, чем другие, либо потому, что факты дела более интересны или их легче понять, либо потому, что они предоставляют больше возможностей для проявления способностей говорящего.

Мистер Фокс был глубоко восхищен речью в защиту Целия. Возможно, стоит процитировать мнение человека, который сам был неплохим оратором, о своем великом римском предшественнике:

"Аргументация - это не то, в чем он преуспевает; и я думаю, что он никогда не бывает так счастлив, как тогда, когда у него есть возможность продемонстрировать смесь философии и шуток, и особенно когда он может вставлять анекдоты и ссылки на авторитет выдающихся персонажей истории его собственной страны. Ни один человек, по-видимому, не испытывал такого настоящего уважения к авторитету, как он; и поэтому, когда он говорит на эту тему, он всегда естествен и серьезен". [1]

[Сноска 1: Письмо Г. Уэйкфилд—Переписка, стр. 35.]

В этой конкретной речи достаточно анекдота и остроты; но скандалы римского общества того времени, в которые была вынуждена вмешаться защита Целия, - не самая поучительная тема для любого читателя. Целий был молодым человеком "всаднического" звания, который был своего рода подопечным Цицерона и, должно быть, доставлял ему немало хлопот своими распутными привычками, если опека была чем-то большим, чем номинальной. Но в данном конкретном случае обвинение, выдвинутое против него — в попытке убить посла Египта с помощью наемных убийц, а затем отравить даму, которая одолжила ему деньги для их подкупа, — вероятно, не соответствовало действительности. Клодия, дама, о которой идет речь, была достойной сестрой печально известного Клодия и пользовалась настолько дурной репутацией, насколько это было возможно для женщины в развращенном обществе Рима, а это говорит о многом. Она является реальной движущей силой в этом деле, хотя мнимым обвинителем был другой враг Целия, сын человека, которого он сам привлек к суду за взяточничество. Поэтому Цицерон на протяжении всей своей речи направляет горькие стрелы своего остроумия и красноречия на Клодию. Его блестящие инвективы в адрес этой леди, которая была, как он многозначительно сказал, "не только благородна, но и печально известна", цитировать нежелательно. Но начало речи выдержано в лучшем стиле адвоката. Судебный процесс, по-видимому, проходил в государственный праздник, когда обычно не приводилось никаких доводов, если только они не были неотложной важности.

Если здесь присутствует какой-либо зритель, джентльмены, который ничего не знает о наших законах, наших судах или наших национальных обычаях, он не преминет задаться вопросом, в чем может заключаться чудовищный характер этого дела, что в день национального праздника, подобного этому, когда все другие дела на Форуме приостановлены, должно продолжаться это единственное судебное разбирательство; и у него не останется сомнений, что обвиняемый обвиняется в преступлении такой чудовищности, что, если бы оно не было немедленно рассмотрено, сама конституция оказалась бы в опасности. И если бы он услышал, что существует закон, предписывающий, чтобы в случае, если мятежные и нелояльные граждане возьмут в руки оружие для нападения на здание Сената, или применят насилие против магистратов, или начнут войну против государства, расследование этого дела должно быть начато немедленно, в тот же день; — он не стал бы придирается к такому закону: он бы только поинтересовался характером обвинения. Но когда он услышал, что предметом этого судебного разбирательства было не такое уж ужасное преступление, не попытка государственной измены, не насильственный произвол, а то, что молодой человек с блестящими способностями, усердно работающий в общественной жизни и пользующийся популярностью, был обвинен сыном человека, которого он сам когда-то преследовал и продолжает преследовать, и что все богатство и влияние дурной женщины было использовано против него, — он мог бы не возражать против сыновнего рвения Атратины; но он, несомненно, сказал бы, что позорная месть женщины должна быть пресечена и что она должна быть наказана. наказан.... Я могу извинить Атратина; что же касается других сторон, то они не заслуживают ни оправдания, ни снисхождения".

Это была странная история, повод для обвинения, особенно в том, что касалось предполагаемой попытки отравления Клодии. Яд был передан другу Целия, он должен был передать его нескольким рабам Клодии, с которыми он должен был встретиться в определенных банях, часто посещаемых ею, и они должны были каким-то образом ввести его. Но рабы выдали тайну, и госпожа наняла нескольких веселых и распутных молодых людей, которые были ее собственными прихлебателями, чтобы они спрятались где-нибудь в банях и набросились на

посланца Целия с имеющимся у него ядом. Но этот план, как говорили, провалился. Детективы Клодии слишком рано покинули свое убежище, и носитель яда сбежал. Адвокат заключенного придает этому большое значение.

"Да ведь это катастрофа театральной постановки — нет, бурлеска; когда невозможно придумать более художественного решения сюжета, герой сбегает, звенит звонок, и — занавес опускается! Ибо я спрашиваю, почему, когда Лициний был там, дрожа, колеблясь, отступая, пытаюсь сбежать, — почему телохранители этой дамы выпустили его из своих рук? Боялись ли они, что так много против одного, такие отважные чемпионы против одного беспомощного человека, каким бы испуганным он ни был и свирепыми ни были они, они не смогут одолеть его? Мне бы очень хотелось увидеть их, этих завитых и надушенных юношей, закадычных друзей этой богатой и знатной леди; этих крепких латников, которых их командирша выставила в этой засаде в банях. И я хотел бы спросить их, как они спрятались и где? Ванна? — да ведь это скорее должен был быть троянский конь, вынашивавший в своем чреве отряд непобедимых героев, отправившихся на войну из-за женщины! Я бы заставил их ответить на этот вопрос — почему они, будучи так многочисленны и так храбры, не схватили этого маленького юношу, которого вы видите перед собой, там, где он стоял, или не настигли его, когда он убежал? Я полагаю, они вряд ли смогут объясниться, если окажутся на скамье подсудимых, какими бы умными и остроумными они ни были на банкете, — более того, даже красноречивыми иногда, без сомнения, за бокалом вина. Но атмосфера суда несколько отличается от атмосферы банкетного зала; скамьи этого суда не похожи на кушетки за обеденным столом; состав присяжных представляет собой зрелище, отличное от компании гуляк; более того, на яркий солнечный свет смотреть труднее, чем на блеск ламп. Если они отважатся на это, мне придется лишиться их милого тщеславия и дурацкого снаряжения. Но если ими буду править я, они займутся другим ремеслом, завоюют благосклонность в другом квартале, будут щеголять собой где угодно, только не при этом дворе. Пусть они несут свой отважный вид своей даме там; пусть они господствуют за ее счет, льнут к ней, лежат у ее ног, будут ее рабами; только пусть они не покушаются на жизнь и честь невинного человека".

Спутники Клодии едва ли могли чувствовать себя комфортно под этим испепеляющим огнем сарказма. Оратор завершил выступление извинениями — весьма необходимыми — за ошибки своего клиента, как молодого человека, и обещанием от его имени — от имени адвоката — что в будущем он будет вести себя лучше. Он завершил все это сенсационной риторикой, которая, как уже было сказано, была обычной для римской коллегии адвокатов, как и для нашей собственной, — призывом к присяжным как к отцам. Он указал на престарелого отца подсудимого, с самым одобрительным видом опирающегося на плечо своего сына. Либо это, либо отсутствие доказательств, либо красноречие защитника возымели должное действие. Целий был с триумфом оправдан; и это служит доказательством того, что молодой человек не был совсем безгрешен, что впоследствии он дослужился до высокого общественного поста и никогда не забывал о своих обязательствах перед своим красноречивым адвокатом, для которого он оставался верным другом. Должно быть, он обладал хорошими способностями, поскольку был удостоен частых писем от Цицерона, когда последний был губернатором Киликии. Он сохранил некоторые из своих экстравагантных вкусов; ибо, когда он был эдилом (что включало в себя расходы на проведение некоторых гладиаторских боев и выставок диких зверей), он написал своему другу, умоляя прислать ему из его провинции несколько пантер для выставки. Цицерон выполнил эту просьбу и воспользовался столь характерной для него возможностью, чтобы похвалить свое собственное управление Киликией и в то же время

сделать своего рода каламбур. "Я отдал приказ охотникам позаботиться о пантерах; но пантер очень мало, и те немногие, кто там есть, жалуются, говорят люди, что во всей провинции нет капканов, расставленных ни для кого, кроме них". Как мы должны понимать, при правлении Цицерона с ловлей и сдиранием шкур с несчастных провинциалов, что было любимым занятием таких правителей, как Веррес, в Киликии было полностью покончено.

Его защита Лигария, которому был предъявлен импичмент в государственной измене в лице Цезаря, поскольку он поднял оружие против него во время его африканской кампании, также заслуженно вызвала восхищение. В том, что Цицерон взялся за свою защиту, была определенная смелость; как известный сторонник Помпея, он ступал на опасную и деликатную почву. Цезарь в то время был диктатором, и дело, по-видимому, рассматривалось им как единственной судебной инстанцией, без каких-либо претензий на вмешательство чего-либо вроде суда присяжных. Защита — если это можно назвать защитой — является замечательным примером обычной апелляции не к существу дела, а к чувствам суда. Изложив все, что он мог бы сделать для своего клиента, адвокат как бы закрывает свое дело и уповает на милосердие судьи. Следует помнить, что сам Цезарь, подобно Цицерону, начинал общественную жизнь в качестве защитника и, по мнению некоторых компетентных судей, таких как Тацит и Квинтилиан, справедливо претендовал на роль близкого соперника.

"Я приводил множество доводов, Цезарь, — некоторые, действительно, в связи с тобой, пока твоя общественная карьера избавляла тебя от суда; но, конечно, я никогда еще не использовал выражения такого рода — "Простите его, господа, он оскорбил: он сделал ложный шаг: он не думал делать этого; он никогда больше не сделает". Таким языком мы обращаемся к отцу. Для суда это должно быть: "Он этого не делал, он никогда не помышлял об этом, доказательства ложные, обвинение сфабриковано". Если ты скажешь мне, что заседаешь в этом деле, Цезарь, но как судья факта, — если ты спросишь меня, где и когда он выступал против тебя, — я промолчу; я не буду сейчас останавливаться на смягчающих обстоятельствах, которые даже перед судебным трибуналом могут иметь вес. Мы проходим этот курс перед судьей, но я здесь умоляю отца. "Я допустил ошибку, я поступил неправильно, я сожалею; я прибегаю к вашему милосердию; я прошу прощения за свою вину; я молю вас, простите меня".... Поверьте мне, сэр, ничто так не популярно, как доброта; из всех ваших многочисленных добродетелей ни одна так не вызывает восхищения и любви людей, как милосердие. Ни в чем люди не приближаются так близко к богам, как в том, что они могут дать жизнь и безопасность человечеству. Судьба не дала вам ничего более великолепного, чем власть, ваша собственная природа не может дать ничего более благородного, чем желание щадить и прощать везде, где вы только можете. Дело, возможно, требует более длительной защиты — ваше великодушное расположение считает, что это и так слишком затянулось. Поэтому я ставлю точку, предпочитая ради моего дела, чтобы вы спорили со своим собственным сердцем, чем чтобы я или кто-либо другой спорил с вами. Я не буду настаивать ни на чем большем, кроме этого, — милость, которую вы окажете моему клиенту в его отсутствие, будет воспринята всеми здесь присутствующими как благо".

Говорят, что апелляция явно подействовала на великого завоевателя, и Лигарий был помилован.

ГЛАВА VIII.

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Не довольствуясь своими триумфами в прозе, Цицерон всегда стремился стать поэтом. О его попытках на этом пути у нас есть лишь несколько несовершенных фрагментов, разбросанных тут и там по другим его работам, слишком скудных, чтобы составить о них какое-либо суждение. Его поэтические способности, как правило, несправедливо оцениваются двумя строками, которые его оппоненты очень любили цитировать и над которыми смеялись и которые по этой причине стали самыми известными. Но очевидно, что если бы о Вордсворте или Теннисоне судили исключительно по одной-двум строчкам, выбранным недоброжелательным рецензентом, — скажем, из "Питера Белла" или из ранней версии "Дочери Миллера", — то потомки очень ошибочно оценили бы их достоинства. Плутарх и Плиний младший, которые видели поэзию Цицерона лучше, чем мы, были о ней высокого мнения. Так он поступал сам; но такова была его натура думать о большинстве собственных деяний; и такая оценка характерна для других авторов, кроме Цицерона, хотя немногие заявляют об этом так открыто. Монтень отчитывает его за это, возможно, с большим остроумием, чем справедливо. "Нет большой вины в том, чтобы писать плохие стихи; но это ошибка — не видеть, насколько недостойны были такие плохие стихи его репутации". Вольтер, с другой стороны, который, возможно, был таким же хорошим судьей, считал, что "нет ничего прекраснее", чем некоторые фрагменты его стихотворения о "Мариусе", который был идеальным героем его юности. Возможно, однако, сам факт того, что ни одно из его стихотворений не сохранилось, является некоторым аргументом в пользу того, что такой поэтический дар, каким он обладал, был скорее легкостью, чем гениальностью. Помимо этой поэмы о Мариусе, он написал "Историю моего консульства" и "Историю моего собственного времени" в стихах, а также несколько переводов из Гомера.

Он понятия не имел о том, что другие люди называют расслаблением: он сам находил расслабление в смене работы. В одной из своих речей он извиняется за этот странный вкус, каким он показался бы ленивой и роскошной римской знати, с которой он был так неравноправно связан.

"Кто, в конце концов, осудит меня или у кого есть какое—либо право сердиться на меня, если время, которое другие не жалеют для ведения своих личных дел, для посещения публичных игр и празднеств, для удовольствий любого другого рода, — нет, даже для полного отдыха души и тела, — время, которое другие уделяют дружеским встречам, игорному столу, теннисному корту, — столько я беру для себя, для возобновления моих любимых занятий?"

Своим неутомимым стремлением к работе любого рода он не напоминает нам ни одного современного политика так сильно, как сэра Джорджа Корнуолла Льюиса; и все же он не совсем согласился бы с ним в том, что жизнь была бы очень сносной, если бы не ее развлечения. Он был, как мы видели, от природы общителен. "Мне нравятся званые обеды, — пишет он в письме одному из своих друзей, — где я могу сказать только то, что волнует меня больше всего, и превратить свои вздохи и печали в искренний смех. Я сомневаюсь, что вы сами намного лучше, если можете так смеяться даже над философом. Когда мужчина спросил: "Кто-нибудь хочет что-нибудь узнать?" — вы сказали, что весь день хотели узнать, когда наступит время обеда. Этот парень ожидал, что ты скажешь, что хочешь знать, сколько существует миров, или что-то в этом роде". [1]

[Примечание 1: Эти профессиональные философы на литературных званных обедах предлагали обсудить любой вопрос, поднятый компанией, и ответить на него.]

Говорят, что он был большим любителем посмеяться. Действительно, он честно признается, что чувство юмора у него было очень сильным — "Меня чудесным образом захватывает все комическое", - пишет он одному из своих друзей. Он также считает юмор полезным союзником оратора. "Удачная шутка или остроумный оборот не только приятны, но и иногда очень полезны", - но он добавляет, что это достижение должно прийти естественным образом, и его нельзя научить ни по какой возможной системе. [1] Есть, по крайней мере, достаточные свидетельства того, что он был склонен к шуткам, и некоторые из них, дошедшие до нас, подразумевают, что римская аудитория была не очень критична по этому поводу. Во всех судах царит атмосфера серьезности, которая, вероятно, вызывает очень слабую долю шутливости, воспринимаемую как облегчение. Даже в английском суде шутка, произнесенная в адвокатуре, а тем более со скамьи подсудимых, не обязательно должна быть какой-либо выдающейся остротой, чтобы гарантированно вызвать смех; и мы можем справедливо предположить, что то же самое имело место в Риме. Шутки Цицерона часто были не более чем каламбурами, которые невозможно было бы воспроизвести английскому уху, даже если бы это того стоило. Возможно, лучшим или, во всяком случае, наиболее вразумительным является его реплика Гортензию во время суда над Верресом. Говорили, что последний давал советы из своих сицилийских трофеев — в частности, там была фигура сфинкса, представляющая некоторую художественную ценность, которая попала из дома бывшего губернатора в дом Гортензия. Цицерон подвергал свидетеля перекрестному допросу, которого его оппонент не мог понять. "Я всего этого не понимаю", - сказал Гортензий; "Я не умею разгадывать загадки". "Это тоже странно, - возразил Цицерон, - когда у тебя дома есть сфинкс". На том же судебном процессе он снизошел до того, что в разгар того пламенного красноречия, о котором мы уже говорили, употребил два каламбура к имени подсудимого. Слово "*Веррес*" имело два значения в древнелатинском языке: оно означало "кабан-свинью", а также "метлу" или "подметальную щетку". Один из друзей Верреса, который либо был евреем, либо имел репутацию такового, попытался вырвать руководство судебным преследованием из рук Цицерона. "Какое отношение еврей имеет к *свинине*?" - спросил оратор. Говоря в ходе того же судебного процесса о том, каким образом губернатор произвел "реквизицию" всех наиболее ценных произведений искусства по всему острову, "метла", по его словам, "подчистую выметена". Он не пренебрегал комическим элементом в поэзии больше, чем в прозе; ибо мы находим у Квинтилиана [2] цитату из каламбурной эпиграммы в каком-то сборнике подобных пустяков, который в его время носил имя Цицерона. Говорят, что Тиро собрал и опубликовал три тома хороших произведений своего учителя после его смерти; но если они были не лучше тех, что дошли до нас в виде других его сочинений, то "Чичерониана" Тиро не нанесла большого ущерба литературе. Он знал, по крайней мере, один секрет успешного в обществе юмориста: ибо именно ему мы обязаны первым авторитетным изложением общепризнанного правила: "никогда шутка не производит такого сильного эффекта, как тогда, когда она произнесена с серьезным выражением лица".

[Сноска 1: De Orat. II. 54.]

[Сноска 2: "Libellus Jocularis", Квинт. viii. 6.]

Цицерон искренне восхищался греками. "Мне не стыдно признаться, - пишет он своему брату, - особенно с тех пор, как моя жизнь и карьера были таковы, что на меня не может пасть ни

малейшего подозрения в лености или недостатке энергии, что всеми моими собственными достижениями я обязан тем занятиям и тем достижениям, которые были переданы нам в литературных сокровищах и философских системах греков". Это был не просто риторический выпад, когда в свою защиту Валерия Флакка, обвиняемого, как и Веррес, искренне или ложно, в коррумпированном управлении в своей провинции, он представил депутацию из Афин и Лакедемона, которые выступили свидетелями характера его клиента.

"Сегодня здесь находятся афиняне, среди которых зародились цивилизация, ученость, религия, земледелие, общественное право и справедливость, и откуда они были распространены по всему миру; за обладание городом которых, как говорят, боролись даже боги из-за его необычайной красоты; которая настолько древняя, что, как говорят, она воспитала в себе своих граждан, и та же самая земля называется одновременно их матерью, их кормилицей и их страной; значение и влияние которой таковы, что название Греции, хотя оно и утратило большую часть своего веса и привлекательности. власть, все еще удерживающая свое место благодаря известности этого единственного города".

Возможно, он забыл, как позволено забывать оратору, что в той же самой речи, когда его целью было дискредитировать обвинителей его клиента, он сказал то, что очень часто говорили о греках в Риме, что они были нацией лжецов. Среди них были отличные люди, признал он, думая в тот момент о контрдоказательствах, которые у него были готовы для обвиняемого, но далее он делает это широкое заявление:

"Я скажу это обо всей расе греков: Я наделяю их литературным гением, я наделяю их мастерством в различных достижениях, я не отказываю им в элегантности в разговоре, остроте интеллекта, беглом красноречии; против любых других высоких качеств, на которые они могут претендовать, я не возражаю: но священная обязанность свидетеля говорить правду - это то, чего эта нация никогда не считала". [1]

[Сноска 1: Защита Вала. Флакк, с. 4.]

Далее он сказал, что была такая пословица: "Одолжи мне свои доказательства", подразумевая: "и ты получишь мои, когда они тебе понадобятся"; конечно, греческая пословица, и люди знали эти три греческих слова, которые, кроме греческого, не знали ничего. Что ему нравилось в греках, так это, скорее, величие их литературы и очарование их социальных качеств (строгое соблюдение истины, к сожалению, не является обязательным ингредиентом в последнем); он совершенно не уважал их национальный характер. Возможно, больше всего на оратора повлияло его глубокое почтение к афинянину Демосфену, которому, как мастеру своего дела, он подражал и почти боготворил. Понимание своих собственных сил, которым обладает каждый способный человек и которое, по крайней мере, было у Цицерона, сменяется смирением, когда он начинает говорить о своем великом образце. "Абсолютно совершенный", - называет он его в одном месте; и снова в другом: "То, что я пытался, достиг Демосфен". И все же временами, когда в нем был силен пыл гения, он чувствовал, что в его собственном сокровенном уме заложен идеал красноречия, "который я могу *чувствовать*", - говорит он, - но о существовании которого я никогда не подозревал ни в одном человеке".

Как ученый, он не только умел писать по-гречески, но, по-видимому, говорил на нем со значительной легкостью и беглостью; ибо однажды он произнес речь на этом языке, что некоторые из его друзей сочли унижительным для достоинства римлянина.

У греков он научился ценить искусство. Насколько его вкус был действительно развит в этом отношении, нам трудно судить. Некоторые отрывки из его писем Аттикусу могут навести нас на подозрение, что, как заключает Дизраэли, он был скорее коллекционером, чем настоящим любителем искусства. Его призывы к своему другу покупать для него все и вся, и то, что он полностью полагается на суждения Аттикуса в таких покупках, не свидетельствуют о высоком критическом вкусе. В письме другому другу он, кажется, говорит, что купил скульптуры только в качестве "мебели" для гимназии в своем загородном поместье; и он жалуется, что четыре фигуры вакханок, которые этот друг только что купил для него, стоили больше, чем он хотел бы отдать за все статуи, которые когда-либо были сделаны. С другой стороны, когда ему приходится иметь дело с массовым разграблением картин и статуй Верреса на Сицилии, он рассказывает о нескольких работах с большим энтузиазмом. Либо он действительно разбирался в своем предмете, либо, как способный адвокат, тщательно составил свое резюме. Но художественные заметки, разбросанные по его работам, свидетельствуют о значительном знакомстве с миром художников того времени. В своем собственном восхитительном стиле он рассказывает нам историю Зевксиса и о выборе, который он сделал из всех красавиц Кротоны, чтобы объединить несколько их совершенств в своем портрете Елены; он неоднократно ссылается, и всегда языком, подразумевающим высокую оценку художника, на работы Фидия, особенно на ту, которая, как говорят, стоила ему жизни — щит Минервы; и он обсуждает, хотя это всего лишь в качестве иллюстрации, сравнительные достоинства статуй Каламиды, Мирона и других. Поликлет, а также в живописи ранних школ Зевксиса, Полигнота и Тиманта с их четырьмя примитивными цветами по сравнению с более законченными школами Протогена и Апеллеса.

ГЛАВА IX.

ПЕРЕПИСКА ЦИЦЕРОНА.

И. АТТИКУС.

Кажется удивительным, как в разгар всей своей работы Цицерон находил время вести такую объемистую переписку. До нас до сих пор дошло около восьмисот его писем, и долгое время хранились целые тома из них, которые сейчас утрачены, [1] не говоря уже о очень многих, которые, возможно, никогда не считались заслуживающими сохранения. Секрет заключался в его удивительной энергии и активности. Мы находим его пишущим письма перед рассветом, во время подачи еды, во время поездок и диктующим их помощнику, когда он прогуливается взад и вперед, чтобы сделать необходимую зарядку.

[Примечание 1: Известно, что существовали сборники его писем к Цезарю, Бруту, историку Корнелию Непосу, Гиртию, Пансе и его сыну.]

Его корреспондентами были люди почти самого разного положения и характера, от Цезаря и Помпея, великих людей того времени, до его домашнего слуги и секретаря Тирона. Среди них были богатые и любящие простоту эпикурейцы, такие как Атик и Паэт, и даже такие увеселители, как Целий: серьезные стоики, такие как Катон, пылкие патриоты, такие как Брут и Кассий, писатели, такие как историки Корнелий Непот и Луккей, грамматик Варрон и поэт Метий; люди, которые по-джентльменски занимались литературой, такие как Гиртий и Аппий, и опытный литературный критик и меценат того времени, сам имевший неплохую репутацию поэта, оратора и историка, - Гай Азиний Поллион. Разносторонние способности Цицерона не представляли труда для того, чтобы привести содержание его собственных писем в

соответствие с различными вкусами и интересами его друзей. Иногда он посылает своему корреспонденту то, что на самом деле было политическим журналом того времени — довольно односторонним, следует признать, как и все политические журналы, но снабжающим нас разведданными, которые как ничто другое могут пролить свет на историю последних дней Республики. Иногда он пересказывает пустые сплетни о своем последнем званом обеде; иногда он замечает рассуждения последнего нового теоретика философии или обсуждает с другом-литератором какой-нибудь филологический вопрос - последнее исследование, которым он очень любил заниматься, хотя и без особого успеха, поскольку наука о языке тогда еще была неизвестна.

Его главным корреспондентом, как уже было сказано, был его старый школьный товарищ и постоянный друг на всю жизнь Помпоний Атик. Адресованные ему письма, которые до нас дошли, охватывают период в двадцать четыре года, с небольшими перерывами, и переписка прекратилась только со смертью Цицерона. Афинизированный римлянин, хотя он намеренно отошел от отвлекающих его фракций своего родного города, который он редко посещал, сохранил наилучшие отношения с лидерами всех партий и, по-видимому, проявлял очень живой интерес, хотя и просто в качестве наблюдателя, к политическим событиям, которые так быстро сменяли друг друга на протяжении пятидесяти лет его добровольной эмиграции. Письма Цицерона были для него тем, чем сейчас была бы английская газета для английского джентльмена, который по своим собственным причинам предпочел жить в Париже, не поступаясь своими национальными интересами и симпатиями. Временами, когда у Цицерона было больше досуга и когда под рукой были посыльные (ибо мы должны помнить, что не было ничего похожего на нашу современную почту), Цицерон ежедневно отправлял Атику одно из этих писем. Всего у нас их почти четыреста. Они постоянно украшены, вплоть до наигранности, греческими цитатами и фразами, отчасти, возможно, в знак уважения к афинским вкусам его друга, а отчасти из-за собственной страсти автора к языку.

В предыдущем биографическом очерке о них упоминалось так много, поскольку они предоставляют нам некоторые из наиболее важных материалов о жизни и временах Цицерона, — что, возможно, будет достаточно привести здесь два или три из более коротких рассказов в качестве образцов коллекции. Одно из них, описывающее визит Юлия Цезаря, уже диктатора, в его загородный дом близ Путеол, интересно тем, что позволяет заглянуть за кулисы тех знаменательных дней, когда никто точно не знал, окажется ли великий полководец патриотом или заговорщиком против свобод Рима.

"Подумать только, что у меня должен был быть такой потрясающий посетитель! Но это неважно, потому что все прошло очень приятно. Но когда он прибыл в дом Филиппа [1] вечером второго дня Сатурналий, там было так много солдат, что они с трудом смогли найти свободный столик для самого Цезаря, чтобы пообедать. Их было две тысячи человек. На самом деле я был в растерянности, не зная, что делать на следующий день, но Барба Кассий пришел мне на помощь — он снабдил меня охраной. Они разбили свои палатки на территории, и дом был защищен. Он оставался с Филиппом до часу дня третьего дня Сатурналий и никого не хотел видеть. Разбирался, я полагаю, со счетами Бальба. Потом он прогулялся по берегу моря. После двух он принял ванну; затем прослушал несколько стихов о Мамурре, не дрогнув ни единым мускулом на лице; затем оделся [2] и сел ужинать. Он принял предупредительное рвотное средство и поэтому ел и пил от души и безудержно. Уверяю вас, у нас был очень вкусный ужин, и хорошо сервированный; и не только это, но

"Праздник разума и поток души" [3]

кроме того. Его свита была в изобилии накрыта за тремя другими столами: о вольноотпущенниках более низкого ранга и даже рабах хорошо позаботились. У высшего класса было действительно элегантно развлечение. Что ж, нет необходимости рассказывать длинную историю; мы обнаружили, что мы оба "из плоти и крови". И все же он не тот гость, которому можно сказать— "А теперь, прошу тебя, возьми нас с собой по возвращении". Одного раза достаточно. У нас не было деловых разговоров, но много было литературных бесед. Короче говоря, он, казалось, был очень доволен и получал удовольствие от самого себя. Он сказал, что должен провести один день в ПUTEОЛАХ, а другой - в БАЙЯХ. Итак, вот вам отчет об этом визите, или, скорее, о размещении у меня войск, мысли о котором мне не понравились, но которые на самом деле, как я уже сказал, не вызвали у меня никакого раздражения. Я побуду здесь еще немного, а затем отправлюсь к себе домой в ТУСКУЛУМ. Когда ЦЕЗАРЬ проезжал мимо виллы ДОЛАБЕЛЛЫ, все войска выстроились справа и слева от его конницы, чего они больше нигде не делали. [4] Я слышал это от НИКИЯ".

[Примечание 1: Это было недалеко от виллы Цицерона на побережье.]

[Сноска 2: буквально: "он обмазался маслом". Рвотное средство было отвратительной практикой римских *бонвиванов*, которые боялись несварения желудка.]

[Сноска 3: Стих, который Цицерон цитирует из Луцилия, в значительной степени эквивалентен этому.]

[Сноска 4: Вероятно, в знак приветствия; или, возможно, в качестве меры предосторожности.]

Далее он ожидает визита своего друга и дамы, с которой он помолвлен.

"У меня был восхитительный визит Цинция 30 января, еще до рассвета. Ибо он сказал мне, что ты в Италии и что он собирается послать к тебе нескольких гонцов и не отпустит их без письма от меня. Не то чтобы мне было о чем писать (особенно когда вы почти все здесь), но хочу заверить вас, что я с величайшим удовольствием ожидаю вашего приезда. Поэтому лети ко мне, чтобы показать свою привязанность и увидеть, какую привязанность испытываю к тебе я. Другие вопросы при встрече. Я писал это в спешке. Как только приедешь, приведи всех своих людей в мой дом. Ты доставишь мне большое удовольствие, придя. Вы увидите, как замечательно Тирранио расположил мои книги, остатки которых гораздо лучше, чем я думал. И я был бы очень рад, если бы вы могли прислать мне пару ваших библиотечных клерков, которых Тирранио мог бы использовать в качестве переплетчиков и помогать ему другими способами; и скажите им, чтобы принесли немного пергамента для составления индексов — учебных программ, как, кажется, вы, греки, их называете. Но это только в том случае, если вам это удобно. Но, в любом случае, обязательно приезжай сам, если сможешь задержаться в наших краях, и возьми с собой Пилию, потому что это всего лишь справедливо, и Туллия очень этого желает. Честное слово, вы купили очень красивое место. Я слышал, что ваши гладиаторы отлично дерутся. Если бы вы позаботились о том, чтобы нанять их, вы могли бы покрыть свои расходы на эти два последних публичных представления. Но мы можем поговорить об этом позже. Обязательно приходи; и постарайся сделать все возможное с клерками, если ты меня любишь".

Римский дворянин с элегантными и утонченными вкусами, держащий отряд частных гладиаторов и думающий нанять их, по нашим представлениям, представляет собой любопытное сочетание характеров; но вкус был, по сути, не более жестоким, чем призовой ринг и петушиные бои прошлого века.

II. PAETUS.

Другим из любимых корреспондентов Цицерона был Папирий Паэт, который, по-видимому, жил дома непринужденно и мало участвовал в политических волнениях своего времени. Как и Аттик, он был эпикурейцем и больше думал об удовольствиях жизни, чем о ее заботах и обязанностях. Тем не менее Цицерон, очевидно, получал большое удовольствие от его общества, и его письма к нему написаны в том же фамильярном и добродушном тоне, что и письма к его старому школьному товарищу. Некоторые из них проливают приятный свет на повседневные социальные привычки. У Цицерона в его загородном поместье в Тускуле гостили несколько друзей, которым, по его словам, он давал уроки ораторского искусства. Среди них были Долабелла, его зять, и Гиртий, будущий консул. "Они - мои ученики в декламации, а я - их в приготовлении ужинов; поскольку я заключаю, что вы слышали (кажется, вы слышите все), что они приходят ко мне декламировать, а я хожу к ним на обеды. Тебе очень хорошо клясться, что ты не можешь развлекать меня так роскошно, как я привыкла, но это полезно.... Лучше быть жертвой своего друга, чем своих должников, как это было с вами. В конце концов, мне не нужен такой банкет, который оставляет после себя большие потери; хватит и небольшого, только красиво сервированного и хорошо приготовленного. Я помню, ты рассказывал мне об обеде у Фамеи — ну, это не обязательно должно быть такое позднее мероприятие и не такое грандиозное в других отношениях; более того, если ты будешь настаивать на том, чтобы устроить мне один из старых семейных обедов твоей матери, я выдержу даже это. Я вижу, что моя новая репутация добропорядочного человека дошла до вас еще до моего приезда, и вы встревожены этим; но, прошу вас, не доверяйте своим предварительным курсам — я совсем отказался от этого. Я помню, что у меня портился аппетит из-за твоего масла и нарезанных колбасок Одна статья расходов, на которую я тебя действительно вынужду, - это принять теплую ванну. Другие мои привычки, уверяю вас, совершенно неизменны; все остальное - шутка".

Паэт, кажется, отвечает ему такой же добродушной насмешкой. Бальб, губернатор Африки, был у него, по его словам, и *он* остался доволен такой скромной едой, которую, как он опасался, Цицерон может презирать. По крайней мере, так много мы можем почерпнуть из ответа Цицерона.

- Сатирик, как всегда, я вижу. Ты говоришь, Бальб довольствовался очень скромной едой. Вы, кажется, намекаете, что если вельможи так умеренны, то тем более таким должен быть бедный бывший консул вроде меня. Вы не знаете, что я выудил все это из самого вашего посетителя, потому что он пришел прямо ко мне домой, на свою лестничную площадку. Самыми первыми словами, которые я ему сказал, были: "Как ты поладил с нашим другом Паэтом?" Он поклялся, что никогда еще его так хорошо не развлекали. Если это относилось к прелести вашей беседы, помните, я буду таким же благодарным слушателем, как Бальб; но если это относилось к вкусностям, стоящим на столе, я должен просить вас не обращаться с нами, людьми красноречия, хуже, чем с "Шепелявыми". [1]

[Сноска 1: Один из каламбуров Цицерона. Бальб означает "Шепелявящий".]

Они продолжают эту шутку в нескольких письмах. Цицерон сожалеет, что до сих пор не смог нанести визит, которым угрожал, когда его друг увидел бы, каких успехов он достиг в гастрономической науке. Теперь он мог съесть все блюда — "от яиц до *роти*".

"Я [бывший Стоик] перешел со всеми своими войсками в лагерь Эпикура. Вам придется иметь дело с человеком, который умеет есть и который знает, что к чему. Вы знаете, как самонадеянны мы, поздно учащиеся, как гласит пословица. Вам придется забыть о ваших маленьких "простых обедах" и самоделках. Мы достигли таких успехов в этом искусстве, что не раз отваживались приглашать ваших друзей Веррия и Камилла (какие они элегантные и утонченные джентльмены!). Но посмотрите, какими дерзкими мы становимся! Я даже угостил Гиртия обедом, но без павлина. Мой повар не мог подражать ничему в его развлечениях, кроме горячего супа".

Затем он слышит, что его друг лежит в постели с подагрой.

"Мне крайне прискорбно это слышать, как и подобает по долгу службы; тем не менее, я твердо решил приехать, чтобы повидаться с вами и нанести свой визит — да, и пообедать: поскольку, я полагаю, ваш повар тоже не страдает подагрой".

Таковы были шутливые послания занятого человека. Но даже в некоторых из этих самых легких излияний мы видим сквозящие заботы государственного деятеля. Вот отрывок из более позднего письма тому же другу.

"Я очень обеспокоен, услышав, что вы отказались от посещения ресторанов, потому что это лишает вас великого источника удовольствия. С другой стороны, я боюсь — ибо лучше говорить честно, — как бы вы не отучились от некоторых своих старых привычек и не забыли сами устраивать маленькие обеды. Ибо если раньше, когда у вас были хорошие примеры для подражания, вы все еще не были достаточно опытны в этом, то как я могу предположить, что вы преуспеете сейчас? Спуринна, действительно, когда я упомянул ему об этом и объяснил ваши прежние привычки, наглядно продемонстрировал, что возникнет опасность для высших интересов государства, если вы весной не вернетесь к своим старым привычкам. Но в самом деле, мой добрый Паэт, я советую тебе, без шуток, общаться с хорошими людьми, приятными собеседниками и мужчинами, которые тебя любят. В жизни нет ничего более ценного, ничего, что делало бы жизнь более счастливой Посмотрите, как я использую философию, чтобы примирить вас с зваными обедами. Позаботьтесь о своем здоровье, а это вам лучше всего сделать, сходяв куда-нибудь поужинать.... Но не воображайте, раз вы меня любите, что из-за того, что я пишу в шутку, я отбросил всякую заботу об общественных делах. Будь уверен, мой дорогой Паэт, что я ничего не ищу и ни о чем не забочусь ни днем, ни ночью, кроме того, как бы сохранить мою страну безопасной и свободной. Я не упускаю возможности давать советы, планировать или действовать. В глубине души я чувствую, что если для достижения этого мне придется отдать свою жизнь, я закончу ее хорошо и с честью".

III. ЕГО БРАТ КВИНТ.

Между Марком Цицероном и его младшим братом Квинтом существовала очень искренняя и сердечная привязанность — возможно, несколько более теплая со стороны старшего, поскольку его богатство и положение позволяли ему скорее одаривать, чем принимать любезности; правило в таких случаях таково (так говорят нам циничные философы), что привязанность скорее ослабляется, чем усиливается чувством долга. Он чуть было не усыновил

младшего Квинта, своего племянника, и не отдал его на воспитание своему собственному сыну; и оба двоюродных брата ранее вместе получали образование в одном из загородных домов Марка Цицерона под руководством его умного греческого вольноотпущенника, который был превосходным ученым и — что было менее обычным среди его соотечественников, если только оценка Цицерона не делает их крайне несправедливыми — очень честным человеком, но, как жаловались оба мальчика, ужасно страстным. Сам Цицерон, однако, был главным преподавателем — должность, для которой, как он скромно пишет, его изучение греческого полностью подходило. Квинт Цицерон плохо обошелся со своим братом после битвы при Фарсалии, выдвинув против него, по-видимому, очень несправедливые обвинения, чтобы поухаживать за Цезарем; но вскоре они снова стали друзьями.

Сохранилось двадцать девять писем Цицерона-старшего к своему брату, написанных с замечательной добротой и привязанностью, которые во многом оправдывают римский характер от обвинений, которые иногда выдвигались против него в холодности семейных отношений. Вероятно, немногие современные братья стали бы писать друг другу в таких выражениях, как эти:

"Боишься, что твои письма меня побеспокоят? Я бы хотел, чтобы ты побеспокоил меня, и снова побеспокоил, и поговорил со мной, и на меня; ибо что может доставить мне большее удовольствие? Клянусь, ни один пораженный музой рифмоплет никогда не читал свое последнее стихотворение с большим восторгом, чем я читаю то, что вы пишете мне о делах общественных или частных, о городе или стране. Вот письмо от тебя, полное приятных событий, но с примесью неприятного, которого ты боялся — нет, даже сейчас боишься — причинить мне беспокойство. Я мог бы поссориться с тобой из-за этого, если бы это не было грехом. Но если у меня снова появятся основания подозревать что-либо в этом роде, я могу только сказать, что всегда буду бояться, как бы, когда мы будем вместе, я не доставил тебе хлопот".

Или возьмем, опять же, жалкое извинение, которое он приносит за то, что уклонился от встречи с Квинтом в те первые дни своего изгнания, когда он был так совершенно беззащитен:

"Мой брат, мой брат, мой брат! Ты действительно боялся, что я рассержусь, потому что отослал рабов без письма к тебе? И ты вообще думал, что я не желаю тебя видеть? Я злюсь на тебя? Могу ли я вообще на тебя сердиться?... Когда я скучаю по тебе, я скучаю не только по брату. Для меня ты всегда был приятнейшим товарищем, сыном, исполненным долга, отцом, дающим советы. Что за радость была у меня без тебя или у тебя без меня?

Квинт сопровождал Цезаря в его экспедиции в Британию в качестве одного из его помощников и, по-видимому, написал домой своему брату несколько заметок об этой стране; на что последний ближе к концу своего ответа делает такой намек:

"Как я был рад получить твое письмо из Британии! Я боялся путешествия через океан, боялся скалистого побережья острова. Я не хочу презирать другие опасности такой кампании, но в них больше надежды, чем страха, и я скорее с тревогой ожидал результата, чем испытывал какую-либо реальную тревогу по этому поводу. Я вижу, у вас есть отличная тема для письма. Какие новые пейзажи, какие диковинки природы и замечательные места, какие странные племена и обычаи, какую кампанию и какого командира вам нужно описать! Я охотно помогу вам в тех вопросах, о которых вы просите, и я пришлю вам стихи, которые вы просите, хотя я знаю, что это отправка "совы в Афины" [1]".

[Сноска 1: греческая пословица, эквивалентная нашему "уголь для Ньюкасла".]

В другом письме он говорит: "Только дайте мне Британию, чтобы я рисовал вашими красками и моим собственным карандашом". Но либо бритты тех дней, в конце концов, не проявляли достаточного интереса к поэзии или истории, либо по какой-то другой причине это совместное литературное начинание, которое, кажется, когда-то задумывалось, так и не было осуществлено, и мы пропустили то, что, без сомнения, было бы чрезвычайно интересным томом "Очерки Британии" братьев Цицерон.

Квинт был поэтом, так же как и его брат — нет, по мнению последнего, лучшим поэтом, или, по крайней мере, он был достаточно вежлив, чтобы не раз заявлять об этом. По крайней мере, в количественном отношении, если не в качественном, младший, должно быть, был грозным соперником, поскольку он написал, как явствует из одного из этих писем, четыре трагедии за пятнадцать дней — возможно, переводы только с греческого.

Одно из самых замечательных писем Цицерона и, возможно, то, что делает ему наибольшую честь как человеку и государственному деятелю, — это то, которое он написал своему брату, который в то время был губернатором Азии. На самом деле, это гораздо больше, чем письмо; это скорее серьезный и тщательно взвешенный документ с инструкциями об обязанностях, связанных с такой должностью. Она полна здравого практического смысла и высоких принципов государственной мудрости, сильно отличающихся от принципов, которые слишком часто определяли поведение римских наместников за границей. Провинция, выпавшая на долю Квинта Цицерона, была одной из богатейших в Империи и представляла величайшие соблазны и возможности для злоупотребления властью в корыстных целях. Хотя она называлась Азией, она состояла только из позднего Пергамского царства и перешла под власть Рима не в результате завоевания, как это было в случае с большинством провинций, а в качестве наследия от Атталы, последнего из ее царей; который, убив большинство своих родственников, назвал римский народ своими наследниками. Резиденция правительства находилась в Эфесе. Население имело очень смешанный характер, состоящее частично из настоящих азиатов, а частично из азиатских греков, потомков старых колонистов, и включавшее также значительный римский элемент — купцов, прибывших сюда с торговыми целями, многие из которых были банкирами и ростовщиками, а также спекулянтами, которые собирали имперские налоги и ни в коем случае не были щепетильны в вопросе обирания провинциалов. Эти последние — "публиканы", как их называли, — могли оказаться очень опасными врагами для любого слишком рьяного реформатора. Если тамошний римский губернатор действительно хотел исполнить свой долг, то, учитывая сочетание раболепия и двурушничества жителей Востока, вошедшую в поговорку ложь греков и вопиющую несправедливость римских чиновников, ему предстояло сыграть очень трудную роль. Как Квинтус вел эту игру, не совсем ясно. Его брат в этом замечательном письме предполагает, что он сделал все правильно, и призывает его придерживаться того же курса. Но вряд ли этот совет понадобился бы, если бы до сих пор все шло хорошо.

"Вам не составит труда держать своих подчиненных в узде, если вы сможете держать в узде только себя. До тех пор, пока вы сопротивляетесь наживе, удовольствиям и всем другим искушениям, а я уверен, что вы это делаете, я не могу представить, что существует какая-либо опасность того, что вы не сможете остановить нечестного торговца или коллекционера-вымогателя. Ибо даже греки, когда они увидят, что вы живете таким образом, будут смотреть на

вас как на героя из их старых летописей или как на сверхъестественное существо с небес, спустившееся в их провинцию.

"Я пишу это не для того, чтобы побудить вас действовать подобным образом, но чтобы вы могли поздравить себя с тем, что действовали именно так, сейчас и до сих пор. Ибо это славно для человека - три года руководить страной в Азии таким образом, чтобы ни статуя, ни картина, ни произведение искусства любого рода, ни какие—либо соблазны богатства или красоты (всеми этими соблазнами изобилует ваша провинция) не могли отвлечь вас от строжайшей честности и самообладания: чтобы ваши официальные успехи не вызывали страха у жителей, чтобы никто не обнищал от ваших поборов, никого не ужаснуло известие о вашем приближении; — но чтобы вы приносили с собой, куда бы вы ни приехали, самое сердечное расположение духа. ликования, общественные и частные, поскольку каждый город видел в вас защитника, а не тирана, каждая семья принимала вас как гостя, а не как грабителя.

"Но в этих вопросах, как научил вас опыт к настоящему времени, вам недостаточно обладать этими добродетелями самим, но вы должны внимательно следить за тем, чтобы при этой опеке над провинцией не вы один, а каждый офицер под вашим началом выполнял свой долг перед нашими подданными, нашими согражданами и государством.... Если кто-либо из ваших подчиненных, кажется, заботится о своих собственных интересах, вы можете рискнуть быть терпимым к нему до тех пор, пока он просто пренебрегает правилами, которыми он должен быть лично связан; никогда не позволяйте ему злоупотреблять для собственной выгоды властью, которую вы доверили ему для поддержания достоинства его должности. Ибо я не думаю, что это хорошо, особенно с учетом того, что обычаи официальной жизни в последнее время так сильно склоняют к распущенности и коррумпированному влиянию, что вам следует слишком внимательно изучать каждое злоупотребление или слишком строго критиковать каждого из ваших офицеров, но скорее доверять каждому пропорционально тому, насколько вы уверены в его честности.

"За тех, кого государство назначило вам компаньонами и помощниками в общественных делах, вы несете ответственность только в пределах, которые я только что установил; но за тех, кого вы решили связать с собой в качестве членов вашего частного учреждения и личной свиты, вы будете нести ответственность не только за все, что они делают, но и за все, что они говорят

"Предполагается, что ваши уши должны слышать только то, что вы слушаете публично, а не быть открытыми для каждого тайного и лживого шепота ради личной выгоды. Ваша официальная печать должна быть не просто обычным инструментом, а как если бы это были вы сами; не орудие чужой воли, а свидетельство вашей собственной. Ваши офицеры должны быть проводниками вашего милосердия, а не своего собственного каприза; а прутья и топоры, которые они носят, должны быть символами вашего достоинства, а не просто вашей власти. Короче говоря, вся провинция должна чувствовать, что люди, семьи, репутация и состояния всех, над кем вы правите, очень дороги вам. Пусть это будет хорошо понято, что вы будете считать этого человека таким же своим врагом, который дает взятку, если это станет вам известно, как и человека, который ее получает. Но никто не будет предлагать взятки, если однажды станет ясно, что те, кто претендует на такое влияние на вас, в конце концов, не имеют силы добиться от вас какой-либо благосклонности для других.

* * * * *

"Тогда пусть это будет основой вашего достоинства; во—первых, честность и самообладание с вашей стороны; подобающее поведение со стороны всех окружающих вас людей; очень тщательный и осмотрительный отбор ваших близких, будь то греки или провинциалы; серьезная и твердая дисциплина, поддерживаемая во всем вашем доме. Ибо, если такое поведение подобает нам в наших личных и повседневных отношениях, оно становится почти богоподобным в правительстве такого масштаба, в состоянии столь развращенной морали и в провинции, которая представляет так много искушений. Только такая линия поведения и такие правила позволят вам придерживаться той строгости в ваших решениях и постановлениях, которую вы применяли в некоторых случаях и из-за которой мы навлекли на себя (и я не могу сожалеть об этом) зависть определенных заинтересованных сторон.... Вы можете смело применять максимальную строгость при отправлении правосудия, при условии, что оно не является капризным или пристрастным, а поддерживается на одинаковом уровне для всех. Тем не менее, будет мало пользы от того, что ваши собственные решения будут справедливыми и тщательно взвешенными, если только того же курса не будут придерживаться все, кому вы делегируете какую-либо часть ваших судебных полномочий. Необходимо проявлять такую твердость и достоинство, которые могут быть не только выше пристрастия, но и выше подозрений в нем. К этому следует добавить готовность дать аудиенцию, спокойствие при принятии решения, тщательность при взвешивании существа дела и удовлетворении требований сторон".

Тем не менее, он советует проявлять снисходительность к правосудию.

"Если такая умеренность будет популярна в Риме, где так много самоутверждения, такая необузданная свобода, всем людям позволено столько вседозволенности; — где открыто так много апелляционных судов, так много средств оказания помощи, где народ обладает такой большой властью, а Сенат таким авторитетом; - то какой безмерной благодарностью будет умеренность правителю Азии, провинции, где все это огромное количество наших сограждан и подданных, все эти многочисленные государства и города зависят от кивка одного человека! где нет апелляции к трибуне, нет средств правовой защиты по закону, нет Сената, нет народного собрания. Поэтому целью великого человека, благородного по натуре и обученного образованию и гуманитарным наукам, должно быть такое поведение при осуществлении этой абсолютной власти, чтобы у тех, кем он руководит, никогда не было причин желать какой-либо власти, кроме его".

IV. ВРЕМЯ.

Из всей переписки Цицерона его письма к Тируну являются наиболее убедительным доказательством его природной доброты сердца. Тирон был рабом; но к этому следует отнестись с некоторым объяснением. Рабы в доме, подобном дому Цицерона, занимали разное положение - от низшей прислуги до важного мажордома и доверенного секретаря. Тирон принадлежал к этому высшему классу. Вероятно, он родился и вырос на службе, как Элизер в доме Авраама, и стал, подобно ему, доверенным лицом своего хозяина и другом всей семьи. Очевидно, он был человеком значительных способностей и достижений, выступая в качестве литературного помощника и даже в некотором роде домашнего критика при своем занятом хозяине. Он сопровождал его в Киликийское правительство, а по возвращении домой заболел и был вынужден остаться в Патрах. А это нежное письмо Цицерона к нему, написанное из Левкаса (Санта-Маура) на следующий день после этого:

"Я думал, что смог бы лучше перенести разлуку с тобой, но это совершенно невозможно; и хотя для почестей, которых я ожидаю [1], очень важно, чтобы я как можно скорее добрался до Рима, все же я чувствую, что совершил большую ошибку, оставив тебя здесь. Но поскольку, по-видимому, вы хотели не отправляться в путешествие, пока ваше здоровье не восстановится, я одобрил ваше решение. И сейчас я не думаю иначе, если вы все еще придерживаетесь того же мнения. Но если в дальнейшем, когда ты сможешь есть как обычно, ты решишь, что можешь последовать за мной сюда, это тебе решать. Я послал к вам Марио, сказав ему либо присоединиться ко мне вместе с вами как можно скорее, либо, если вы задержитесь, немедленно возвращаться сюда. Но будьте уверены, что, если это возможно без риска для вашего здоровья, я ничего так не желаю, как того, чтобы вы были со мной. Только, если вы чувствуете, что для вашего выздоровления необходимо еще немного побыть в Патре, я ничего так сильно не желаю, как вашего выздоровления. Если вы отплывете сразу, то догоните нас в Левкасе. Но если вы хотите сначала поправиться, позаботьтесь о приятных спутниках, хорошей погоде и хорошем корабле. Запомни это, мой добрый Тиро, если ты любишь меня — пусть ни визит Марио, ни это письмо не торопят тебя. Делая то, что лучше для твоего собственного здоровья, ты будешь лучше всего подчиняться моим указаниям. Рассмотрите эти моменты с присущим вам здравым смыслом. Я очень скучаю по тебе; но с другой стороны, я люблю тебя, и моя привязанность заставляет меня желать видеть тебя в добром здравии, точно так же, как моя нужда в тебе заставляет меня страстно желать увидеть тебя как можно скорее. Но первый пункт самый важный. Поэтому прежде всего позаботьтесь о выздоровлении: из всех ваших бесчисленных услуг для меня эта будет наиболее приемлемой".

[Примечание 1: Триумф за победу, одержанную под его номинальным командованием над горными племенами в Киликии во время его наместничества в этой провинции (стр. 68).]

Цицерон постоянно пишет ему во время его собственного путешествия домой с самой заботливой добротой, просит быть осторожным в выборе судна, на котором он плывет, и особенно рекомендует одного очень осторожного капитана. Он оставил лошадь и мула наготове, когда высадится в Брундузии. Затем он слышит, что Тиро был достаточно глуп, чтобы пойти на концерт или что-то в этом роде, прежде чем набрался сил, за что он мягко упрекает его. Он написал врачу, чтобы тот не жалел ни заботы, ни мучений и назначал, по-видимому, столько, сколько ему заблагорассудится. В нескольких его письмах к своему другу Аттикусу, датированных этим днем, в самых тревожных и нежных выражениях говорится о серьезной болезни этого верного слуги. Как только он и его спутники отправляются из Левкаса, они посылают записку "от Цицерона и его сына, а также Квинта старшего и младшего их лучшему и добрейшему Тируну". Затем из Рима приходит письмо от имени всей семьи, включая жену и дочь:

"Марк Туллий Цицерон, и Цицерон младший, и Теренция, и Туллия, и брат Квинт, и Сын Квинта, передают Тируну привет.

"Хотя мне каждую минуту не хватает вашего умелого и добровольного служения, все же я сожалею не столько о себе, сколько о вас, что вы нездоровы. Но поскольку твоя болезнь сейчас приняла форму квартовой лихорадки (ибо так пишет Курий), я надеюсь, что если ты будешь беречь себя, то вскоре окрепнешь. Только будьте уверены, если у вас есть хоть капля доброты ко мне, не беспокойтесь сейчас ни о чем другом, кроме как о том, как бы поскорее выздороветь. Я прекрасно понимаю, как сильно ты сожалеешь, что тебя нет со мной, но все будет хорошо, если

ты поправишься. Я бы не хотел, чтобы вы спешили, или подвергались досаде морской болезни, пока вы слабы, или рисковали отправиться в морское путешествие зимой". Затем он рассказывает ему обо всех новостях из Рима; о том, как его прибытию туда устроили настоящую овацию; о том, что Цезарь (по его мнению) становится опасным для государства; и о том, что его собственный желанный "триумф" все еще откладывается. "Все это, - говорит он, - я подумал, что вы хотели бы знать". Затем он заключает: "Снова и снова я прошу вас позаботиться о выздоровлении и присылать мне письма всякий раз, когда у вас будет возможность. Прощайте, снова и снова".

Тиро выздоровел и пережил своего доброго хозяина, который очень скоро после этого подарил ему свободу. Говорят, что именно ему мы обязаны сохранением и публикацией переписки Цицерона. Он написал также его биографию, которую видел Плутарх и которую он, вероятно, использовал в своем собственном "Жизнеописании Цицерона", но которая до нас не дошла.

Был еще один член его семьи, к которому Цицерон испытывал такую же привязанность. Это был Соситей, тоже раб, но человек, как и Тирон, довольно образованный, которого он нанял в качестве своего чтеца. Его смерть подействовала на Цицерона так же, как потеря друга. Действительно, его тревога такова, что его римское достоинство почти стыдится ее. "Я скорблю, - говорит он, - о простом рабе больше, чем следовало бы". Точно так же, как теперь можно было бы извиниться за то, что поднял слишком много шума из-за любимой собаки, ибо в цивилизованном Риме на раба едва ли смотрели в более высоком свете. Они говорили о нем в среднем роде, как о движимом имуществе; и серьезно обсуждалось, что в случае опасности во время шторма на море было бы правильнее сначала выбросить за борт, чтобы облегчить корабль, ценную лошадь или безразличного раба. Гортензий, адвокат-соперник, о котором уже упоминалось, человек с более роскошными привычками и менее добродушный духом, чем Цицерон, который, как говорили, кормил домашних миног своим рагу гораздо лучше, чем своих рабов, и проливал слезы при смерти одного из этих уродливых любимцев, вероятно, посмеялся бы над заботой Цицерона о Соситее и Тироне.

Но на самом деле каждый проблеск такого рода, который дает нам переписка Цицерона, свидетельствует о добром сердце и заставляет нас жаждать узнать что-то еще. Некоторые заподозрили его в недостатке сыновней привязанности из-за несколько резкого объявления в письме Аттикусу о смерти его отца; и его стойкие защитники предлагают принять, вместе с Мэдвигом, такое прочтение, как *discessit* — "покинул нас", вместо *decessit* - "умер". Кажется, на самом деле нет никакого повода. Если Аттик не был близко знаком с отцом, не было необходимости распространяться о смерти старика; и Цицерон упоминает впоследствии, в столь же кратких выражениях, о замужестве своей дочери и рождении сына — событиях, в которых, как мы уверены, он испытывал глубокий интерес. Если требуется какое-либо дальнейшее объяснение этой кажущейся холодности, следующие замечания мистера Форсайта уместны и правдивы:

Правда в том, что то, что мы называем *сентиментальностью*, было почти неизвестно древним римлянам, в чьих трудах искать это было бы так же тщетно, как искать следы готической архитектуры среди классических руин. И это нечто большее, чем простая иллюстрация. Это указывает на причину отсутствия. Романтика и чувства пришли из темных лесов Севера, когда Скандинавия и Германия высыпали своими ордами, чтобы покорить Римскую империю и заселить ее. Жизнь гражданина Римской Республики была, по сути, общественной жизнью.

Любовь к родине была доведена там до экстравагантности и имела первостепенное значение для личных и общественных привязанностей и почти поглотила их. Государство было всем, индивид - сравнительно ничем. В одном из писем императора Марка Аврелия Фронтону есть отрывок, в котором он говорит, что в римском языке не было слова, соответствующего греческому [греч. *philostorgia*], — нежная любовь к родителям и детям. По этому поводу Нибур замечает, что это чувство было "не римским; но Цицерон обладал им в такой степени, которую немногие римляне могли понять, и поэтому над ним смеялись за горе, которое он испытывал из-за смерти своей дочери Туллии".

ГЛАВА X.

ЭССЕ О "СТАРОСТИ" И "ДРУЖБЕ"

Говорят, что трактат о "Старости", облеченный в форму диалога, был предложен началом "Республики" Платона, в котором Кефал так приятно затрагивает удовольствия, свойственные этому периоду жизни. Что касается легкой и изящной трактовки своего предмета, римский эссеист, по крайней мере, не отстает от своей модели. Монтень сказал об этом, что "это заставляет человека долго стареть"; [1] но Монтень был французом, и такое чувство было ему совершенно не свойственно. Диалог, независимо от того, производит он такой эффект на многих читателей или нет, является очень приятным чтением: и когда мы вспоминаем, что автор написал его, когда находился как раз в кульминационном периоде, и адресовал своему другу Аттикусу, которому было примерно год того же возраста, мы получаем тот элемент личного интереса, который делает все произведения подобного рода более привлекательными. Аргумент в защиту парадокса о том, что стареть - это хорошо, основывается на единственно возможном основании - теории компенсаций. Это вложено в уста Катона Цензора, который умер около столетия назад и который, как представляется, читал своего рода лекцию на эту тему своим молодым друзьям Сципиону и Лелию на восемьдесят четвертом году жизни. В своем собственном случае он, безусловно, был замечательным примером того, что можно состариться изящно и с пользой, если, как он говорит нам, в этом возрасте он все еще мог принимать участие в дебатах в Сенате, был занят сбором материалов по ранней истории Рима, совсем недавно начал изучать греческий, мог наслаждаться загородным званым обедом и подумывал о том, чтобы брать уроки игры на лире.

[Footnote 1: "Il donne l'appetit de vieillir".]

Он называет четыре причины, по которым старость так часто считается несчастной. Во-первых, это делает нас непригодными к активной деятельности; во-вторых, это ослабляет телесные силы; в-третьих, это лишает нас почти всех удовольствий; в-четвертых и, наконец, это приближает нас к смерти. Что касается первого, старый сенатор очень справедливо утверждает, что большая часть наиболее важных жизненных дел решается не только стариками, но на самом деле, как видно из самого названия и состава римского сената, считается, что безопаснее всего доверить это старейшинам государства. Лоцман, стоящий у руля, может быть, и не в состоянии взобраться на мачту и бегать взад-вперед по палубе, как молодой матрос, но он управляет кораблем ничуть не хуже, несмотря на свой возраст. Он цитирует некоторые хорошо известные примеры этого из римских анналов; примеры, которым могут соответствовать очевидные примеры из современной английской истории. Защита, которую он выдвигает по поводу преклонного возраста против второго обвинения — потери мышечной силы, — скорее носит характер специальных ходатайств. Он говорит немногим

больше, чем о том, что простая мускульная сила, в конце концов, не так уж необходима для нашего счастья: что всегда есть сравнительные степени силы; и что старику не больше нужды делать себя несчастным из-за того, что у него нет силы молодого человека, чем последнему из-за того, что у него нет силы быка или слона. Великому борцу Мило было очень хорошо иметь возможность таскать быка по арене на своих плечах; но, в целом, человеку не часто хочется разгуливать с быком на спине. Говорят, что старики тоже теряют память. Катон считает, что они могут довольно хорошо помнить все, что им хочется помнить. Они не склонны забывать, кто им должен денег; и "я никогда не встречал старика, который забыл бы, - говорит он, - где он зарыл свое золото". Затем, что касается чувственных удовольствий, возраст которых, несомненно, уменьшает нашу способность наслаждаться. "Это, - говорит Катон, - действительно привилегия, а не лишение; быть освобожденным от ига таких тиранов, как наши страсти, чувствовать, что мы "получили разрядку" от такой войны, — это благословение, за которое люди скорее должны быть благодарны своим преклонным годам". А уважение и авторитет, которые по общему согласию передаются старости, являются удовольствием, более чем эквивалентным ушедшим радостям молодости.

Есть одно соображение, которое автор не включил в число своих четырех главных недостатков старения, — о котором, однако, он не забыл, поскольку случайно замечает это в диалоге, — ощущение, что мы становимся все менее приятными для наших друзей, что наше общество менее востребовано, и что мы, короче говоря, становимся скорее шифрами в обществе. В условиях высокой цивилизации это, возможно, действительно ощущается большинством из нас как самое тяжелое из всех недугов, которым подвержена старость. Мы не должны были бы так сильно заботиться о том, чтобы молодое поколение подрастало и заставляло нас выглядеть стариками, если бы мы не чувствовали, что они "сталкивают нас со стула". Катон признает, что слышал, как некоторые старики жаловались, что "теперь ими пренебрегают те, кто когда-то добивался их общества", и цитирует отрывок из поэта-комика Цецилия

"Это самая горькая боль в старости, —

Чувствовать, что мы становимся ненавистными своим братьям".

Но в своем собственном случае он кратко отклоняет этот вопрос, с некоторым самодовольством замечая, что, по его мнению, его юные друзья не находят его общество неприятным — утверждение, которому Сципион и Лелий, время от времени принимающие участие в диалоге, слишком хорошо воспитаны, чтобы противоречить. Он также достаточно разумно замечает, что, хотя некоторых пожилых людей, без сомнения, считают неприятной компанией, в значительной степени это их собственная вина: вспыльчивость и дурной характер (качества, которые, как он замечает, обычно не улучшаются с возрастом) всегда неприятны, и что такие люди приписывают своим преклонным годам то, что на самом деле было следствием их несговорчивого характера. Не все вино скисает с возрастом и не все выдерживается; многое зависит от первоначального качества. Старый цензор излагает некоторые принципы, которые, как и предыдущие, послужили текстами для многих современных авторов, и их можно найти расширенными, разбавленными или усиленными в эссе Аддисона и Джонсона и многих их последователей с менее известной репутацией. "Я никогда не мог согласиться, - говорит Катон, - с этой древней и высоко ценимой пословицей: "ты должен рано состариться, если хочешь долго оставаться стариком"". И все же это был принцип, которому в значительной степени следовали современные англичане поколение или два назад. Тогда считалось чуть ли не

моральным долгом уйти на пенсию в преклонном возрасте и воспользоваться всеми своими недостатками, а также привилегиями по прошествии шестидесяти лет или даже раньше. В настоящее время мир становится на сторону Катона и, возможно, впадает в другую крайность; ибо любую черту, за которой сейчас начинается старость, было бы трудно проследить ни в одежде, ни в поведении. "Мы должны противостоять старости и бороться с ней как с болезнью". Сильные слова древнего римлянина; но, несомненно, пока мы воздерживаемся от попыток повлиять на молодость, Катон прав. Мы должны сохранять себя как можно более молодыми. Он снова проявляет пронизательный смысл, когда говорит— "Как мне нравится видеть молодого человека, в котором есть что-то старое, так и мне нравится видеть старика, в котором остается что-то от молодости: и тот, кто следует этой максиме, может стать стариком телом, но никогда сердцем". "Какое это благословение, - говорит Саути, - иметь мальчишеское сердце!" Разве мы все не знаем этих очаровательных старичков, к которым молодежь относится почти так же сердечно, как к ровесникам, которые являются любимыми советчиками во всех развлечениях, наперсниками во всех бедах?

В эти последние годы жизни Катона заставляли посвящать большую часть собственного удовольствия возделыванию своей фермы и сада (мы должны помнить, что он написал трактат "О сельской жизни" — своего рода римскую "Книгу о ферме", которая сохранилась у нас до сих пор). Он с энтузиазмом описывает радости жизни сельского джентльмена и, как хороший фермер, каким он, несомненно, и был, становится красноречивым в обсуждении великой темы удобрения. Садоводство — это занятие, которое он почитает в равной степени, это "чистейшее из человеческих удовольствий", как называет его Бэкон. Говоря о сельской жизни в целом, он признается в склонности становиться болтливым — единственный недостаток, который он признает, можно справедливо отнести на счет преклонного возраста. Картина образа жизни римского джентльмена-фермера, как он ее рисует, должно быть, представляла сильный контраст с искусственной городской жизнью Рима.

"Там, где хозяин дома является хорошим и заботливым управляющим, его винный погреб, запасы масла, кладовая всегда полны припасов; во всем заведении царит изобилие; свиньи, козлята, ягнята, домашняя птица, молоко, сыр, мед - всего в изобилии. Плоды с огорода всегда равны, как говорят наши деревенские жители, двойному блюду. И все эти полезные вещи приобретают дополнительный вкус благодаря добровольному труду по охоте на дичь. Зачем останавливаться на очаровании зеленых полей, ухоженных плантаций, красоте виноградников и оливковых рощ? Короче говоря, ничто не может быть более богатым на продукты или более приятным для глаз, чем хорошо возделанное поместье; и, к удовольствию от этого, старость настолько далека от того, чтобы быть помехой, что она, скорее, приглашает и манит нас к таким занятиям".

У него нет терпения к тому, что было названо унынием старости — чувству, достаточно естественному в этот период жизни, но нежелательному, чтобы его поощряли, что в будущем больше нет места для надежды или обещаний, которые придают столько интереса настоящему. Он не станет слушать поэта, когда тот снова скажет:

"Он сажает дерево, которое не увидит плода"

Ответ, который он мог бы дать, часто облекался в другие, более замысловатые формулировки, но сам по себе обладает простым величием. "Если кто—нибудь спросит престарелого земледельца, для кого он сажает, пусть он, не колеблясь, ответит: "Для бессмертных богов,

которые, поскольку они пожелали, чтобы я унаследовал эти владения от моих предков, хотели, чтобы я передал их тем, кто придет после".

Древний римлянин не испытывал того ужаса перед деревенским обществом, который испытывают или на который претендуют столь многие цивилизованные англичане. "Я люблю поговорить, - говорит он, - за чашей вина". "Даже когда я нахожусь в своем поместье в Сабине, я ежедневно устраиваю вечеринку у своих соседей по деревне, и мы очень часто продолжаем нашу беседу далеко за полночь". Слова вкладываются в уста Катона, но голос - это хорошо известный голос Цицерона. Здесь, как и в его письмах, мы находим его убеждающим себя в том, что секрет счастья заключается в уединении страны. И его добродушная и социальная натура просвечивает сквозь все это. Нам вспоминаются его полусерьезные жалобы Аттику на назойливых посетителей в Формиях, на званые обеды, на которые он был, как мы теперь говорим, "вынужден ходить" и которые ему так явно нравились. [1]

[Примечание 1: "Священнослужитель жаловался на отсутствие общества в стране, где он жил, и сказал: "Они говорят о *коротышках*" (то есть о молодых коровах). "Сэр, - сказал мистер Салусбери, - мистер Джонсон научился бы говорить о коротышках"; это означало, что я был человеком, который максимально использовал бы свое положение, каким бы оно ни было". — Жизнь Босуэлла. Цицерон был похож на доктора Джонсона.]

Однако он старается напомнить своим читателям, что старость, чтобы быть действительно счастливой или почтенной, не должна быть старостью простого сластолюбца или развратника; что седая голова, чтобы быть, даже в его языческом понимании, "венцом славы", должна быть "обретена на пути праведности". Шекспир мог бы перенять у Цицерона в этих пунктах мораль, которую он вкладывает в уста своего Адама—

"Поэтому мой век подобен суровой зиме,
Морозной, но доброй".

Это жалкая старость, говорит римлянин, который вынужден апеллировать к своим сединам как к единственной претензии на уважение младших. "Ни седые волосы, ни морщины не могут считать благоговение своим правом. Именно жизнь, первые годы которой были прожиты с честью, пожиная награду в виде благоговения в конце".

Обсуждая последнее из зол, сопровождающих старость, - близость смерти, Цицерон поднимается на нечто более высокое, чем его обычный уровень. Его Катон вовсе не считает смерть злом; для него это побег из "тюрьмы тела", "наконец—то увидев землю после долгого путешествия и войдя в порт". Нет, он не признает, что смерть есть смерть. "Я никогда не мог убедить себя", - говорит он, цитируя слова Кира из Ксенофонта, - "что наши духи были живы, пока находились в этих смертных телах, и умерли только тогда, когда покинули их; или что дух становится лишенным смысла только тогда, когда он покидает бесчувственное тело; но что, скорее, когда он освобожден от всякой примеси телесности, он чист и незагрязнен, тогда он действительно имеет смысл". "Я полностью убежден, - говорит он своим юным слушателям, - что два ваших отца, мои старые и горячо любимые друзья, сейчас живы, и живут той жизнью, которая единственная достойна так называться". И он завершает диалог очень красивым апострофом, одним из последних высказываний сердца философа, хорошо известным, но не слишком известным, чтобы его здесь цитировать:

"Мне нравится, что я не скорблю об уходящей жизни, как это делали многие мужчины, в том числе образованные. Я также не могу сожалеть о том, что жил, поскольку я жил так, что могу верить, что родился не напрасно; и я ухожу из жизни как из временного пристанища, а не как из своего дома. Ибо природа дала нам его как гостиницу, где можно остановиться по дороге, а не как место для постоянного проживания. О, славный день! когда я отправлюсь присоединиться к этой благословенной компании и собранию бестелесных духов и покину эту толпу и сброд жизни! Ибо я пойду своим путем не только к тем великим людям, о которых я говорил, но и к моему собственному сыну Катону, человека лучше которого не было на свете и более исполненного чувства долга; чье тело я возложил на погребальный костер — службу, которую он скорее должен был выполнить для меня. [1] Но его дух никогда не покидал меня; он все еще с любовью смотрит на меня, хотя, несомненно, отправился в те обители, куда, как он знал, я сам должен последовать. И эту свою великую потерю я, казалось, перенес спокойно; не то чтобы я перенес ее безмятежно, но я все еще утешал себя мыслью, что разлука между нами не может быть долгой. И если я ошибаюсь в этом — в том, что я верю, что духи людей бессмертны, — я ошибаюсь добровольно; и я не позволю искоренить это мое ошибочное убеждение до тех пор, пока я буду жив. Но если после моей смерти у меня не будет сознания, как утверждают некоторые любопытные философы, тогда я не боюсь, что мертвые философы будут смеяться над моей ошибкой".

[Примечание 1: Берк затрагивает ту же тему, говоря о своем сыне: "Я живу в перевернутом порядке. Те, кто должен был стать моим преемником, ушли раньше меня: те, кто должен был быть для меня потомством, заняли место предков".]

* * * * *

Эссе "Дружба" автор посвящает Аттикусу — уместное признание, по его словам, давней и тесной дружбы, которая существовала между ними. Оно, как и другое, облечено в форму диалога. Основным оратором здесь является один из слушателей по первому делу — Лелий по прозвищу Мудрый, — который представлен как принимающий в гостях двух своих зятьев, Фанния и Сцеволу (великого юриста, упомянутого выше), вскоре после внезапной смерти своего большого друга, младшего Сципиона Африканского. Лаэлиус пользуется случаем, по просьбе молодых людей, чтобы поделиться с ними своими взглядами на Дружбу в целом. Это эссе, возможно, более оригинально, чем посвященное "Старости", но, конечно, не так привлекательно для современного читателя. Его великим достоинством является изящество и отточенность языка; но аргументы, приводимые для доказательства того, как хорошо для человека иметь хороших друзей, и их много, в этом мире, и правила его поведения по отношению к ним кажутся нам несколько банальными, каким бы ни было их впечатление на римского читателя.

Цицерон в долгу перед греческими философами за основные положения своей теории дружбы, хотя его знакомство с трудами Платона и Аристотеля, вероятно, было чрезвычайно поверхностным. Он придерживается того же мнения, что и они, что человек - общественное животное; что "мы так устроены природой, что между всеми нами должна быть определенная степень ассоциации, которая становится ближе по мере того, как мы вступаем во все более тесные отношения друг с другом". Так что социальные узы - это вопрос инстинкта, а не расчета; не холодный коммерческий контракт о прибылях и убытках, о том, чтобы отдавать и получать, но

исполнение одного из стремлений нашей природы. Здесь он находится в полном соответствии с учением Аристотеля, который из всех различных видов дружбы, которым он дает общее название, объявляет ту, которая основана просто на интересе - на взаимном обмене, по молчаливому соглашению, определенными выгодами, — наименее достойной такого обозначения. Цицерон определяет дружбу как "совершенное согласие по всем вопросам, религиозным и социальным, вместе с взаимной доброй волей и привязанностью". Следует признать, что это "совершенное согласие" является очень важным требованием. Он снова следует своим греческим учителям, утверждая, что настоящая дружба может существовать только среди хороших людей; что на самом деле любая дружба должна предполагать наличие чего-то хорошего и привлекательного в человеке, к которому испытываешь чувство. Иногда это может быть ошибочным предположением; хорошее качество, которое, как нам кажется, мы видим в нашем друге, может существовать только в нашем собственном пристрастном воображении; но существование подделки является неоспоримым доказательством истинного оригинала. И величайшее влечение, а следовательно, и самая настоящая дружба, всегда будут исходить от добрых по отношению к добрым.

Однако он признает общеизвестный факт, что хорошие люди иногда бывают неприятными; и он признает, что мы имеем право искать в наших друзьях дружелюбия, а также морального совершенства. "Сладость", — говорит он, предвосхищая, как это провоцирующе делают все эти древние, некоторых из наших самых современных популярных философов, — "сладость, как в языке, так и в манерах, является очень мощным фактором притяжения к формированию дружеских отношений". Он ни в коем случае не придерживается того же мнения, что Сизиф из "Повести о Милете" Лорда Литтона —

"Теперь я знаю, что ты действительно мой друг, —
Только настоящие друзья выбирают такие неприятные слова".

Он признает, что в обязанности друга входит иногда говорить неприятную правду; но в нем должно быть определенное количество этой необходимой "мягкости", чтобы смягчить горечь совета. Есть друзья, которые постоянно напоминают вам о том, что они сделали для вас — "воистину, они отвратительные люди", - говорит наш автор. И есть другие, которые всегда думают, что ими пренебрегают; "в этом случае, как правило, есть что-то, что они осознают в себе, что делает их открытыми для презрительного обращения".

Характер самого Цицерона проявляется в этом коротком трактате. Здесь, как и везде, он политик. Он по-настоящему ценит обязанности и качества настоящего друга, но его собственные мысли сосредоточены на политической дружбе. Точно так же, когда во многих своих письмах он говорит о "всех честных людях", он имеет в виду "нашу партию"; так и здесь, когда он говорит о друзьях, он не может не показать, что, по его мнению, суть дружбы заключалась в том, чтобы придерживаться одних и тех же политических взглядов, и что одно из величайших преимуществ друзей заключалось в том, что человек не должен быть изолирован, как он иногда опасался, в своем политическом курсе. Когда он приводит старые примеры Кориолана и Гракха и обсуждает вопрос о том, были или не были обязаны их "друзья" помогать им в их изменнических планах против государства, он, несомненно, имеет в виду фракции своего времени и беспокойные братства, которые собрались вокруг Катилины и Клодия. Как бы то ни было, совет, который он заставляет Лаэлиуса дать своим младшим родственникам,

полезен для всех возрастов, современных или древних: "В этом мире нет ничего более ценного, чем дружба". "Помимо непосредственного благословения и провидения Всемогущего Бога", - часто приходилось слышать, как лорд Кларендон говорил: "Всем тем немногим, что я знаю, и тем немногим хорошим, что есть во мне, я обязан дружбе и беседам, к которым я все еще привык, с самыми выдающимися людьми во всех их разновидностях, жившими в ту эпоху".

ГЛАВА XI.

ФИЛОСОФИЯ ЦИЦЕРОНА.

"ИСТИННЫЕ ЦЕЛИ ЖИЗНИ". [1]

Философия была для римлянина тем же, чем религия для меня. Она претендовала на то, чтобы ответить, насколько это вообще возможно, на вопрос Пилата: "Что такое истина?", или научить людей, как описывал это Цицерон, "знанию вещей человеческих и божественных".

Следовательно, философ наделяет свой предмет всеми атрибутами достоинства. Для него философия приносит все блага в своем шлейфе. Она - путеводитель по жизни, лекарство от его печалей, "источник всего совершенного красноречия, мать всех добрых дел и добрых слов". Он с нежным почтением упоминает великое имя Сократа — мудреца, который "первым черпнул мудрость с небес".

[Footnote 1: 'De Finibus Bonorum et Malorum'.]

Ни один человек никогда не подходил к своему предмету более богато философскими знаниями, чем Цицерон. Выкраивая из своей напряженной жизни каждую свободную минуту, какую только мог, он посвящает ее изучению великих умов прошлых эпох. Действительно, он считал это изучение обязанностью совершенного оратора; знание человеческого разума было одним из его основных качеств. Без этого он также не мог представить себе настоящего красноречия, поскольку его определение красноречия звучит так: "мудрость, говорящая свободно". [1] Но такие занятия также соответствовали его собственным природным вкусам. И по прошествии лет, устав от гражданских раздоров и измученный домашними неурядицами, великий оратор поворачивается спиной к шумному городу и делает свои пергаменты с Платоном и Аристотелем друзьями своих советов и спутниками своего одиночества, стремясь при их свете открыть Истину, которая, как объявил Демокрит, похоронена в морских глубинах.

[Footnote 1: "Copiose loquens sapientia".]

И все же, в конце концов, он утверждает, что занимается не более чем переводом. Он настолько осознает, что именно Греции Рим обязан всей своей литературой, и настолько осознает, также, со стороны своих соотечественников, то, что он называет "высокомерным презрением ко всему национальному", что он извиняется перед своими читателями за то, что пишет для миллиона на их родном языке. Однако он не довольствуется, как он говорит, тем, что является "простым переводчиком". Он думал, что с помощью эклектического процесса — принятия и перестройки тех доктрин своих греческих учителей, которые, по его собственному мнению, были одобрены, — он мог бы заменить их собственную работу. Его честолюбивое намерение состоит в том, чтобы выполнить то, что он вполне может считать самой трудной из задач, — популярный трактат по философии; и он, безусловно, преуспел. Он не претендует на оригинальность; все, что он может сделать, это, как он выражается, "нарядить Платона в латинское платье" и "подарить этому чужеземцу из-за морей свободу его родного города". Итак, этот трактат о целях

жизни — серьезный вопрос даже для самого беспечного мыслителя — по сути дела является одновременно драматичным и риторическим. Представители двух великих философских школ — стоиков и эпикурейцев — ссылаются на его страницах каждый в свою очередь; и их аргументы основаны на принципах, достаточно широких и универсальных, чтобы быть актуальными даже сейчас. Ибо сейчас, как и тогда, люди неизбежно разделяются на два класса — дружелюбных людей непринужденности, которые руководят своим поведением с помощью рулей удовольствия, - которые по большей части "покидают мир" (как было прекрасно сказано) "в долгу у мира, много потребив и ничего не произведя"; [1] или, с другой стороны, ревностных людей долга,

"Которые презируют удовольствия и живут тяжелыми днями",

и действовать в соответствии с велениями своей чести или совести. На практике, если не в теории, мужчина должен быть либо стоиком, либо эпикурейцем.

[Сноска 1: лорд Дерби.]

Каждой школе в этом диалоге позволено отстаивать свою собственную точку зрения. "Прислушайтесь, - говорит эпикурейец, - к голосу природы, который велит вам стремиться к удовольствию, и пусть вас не вводит в заблуждение это вульгарное представление об удовольствии как о простом чувственном наслаждении; наши оппоненты вводят нас в заблуждение, когда говорят, что мы защищаем это как высшее благо; напротив, мы считаем, что люди часто получают величайшее удовольствие, пренебрегая этим низменным видом. Ваши высшие примеры мученичества — Деции, посвятившие себя служению своей стране, консулы, предавшие своих сыновей смерти ради сохранения дисциплины, — это не бескорыстные акты самопожертвования, а выбор настоящей боли ради получения будущего удовольствия. Порок - это всего лишь незнание истинного наслаждения. Только воздержанность может принести душевный покой; и нечестивые, даже если они избегают общественного порицания, "день и ночь терзаются тревогами, насланными на них бессмертными богами". В этом мы не противоречим вашему Стоицизму; мы также утверждаем, что только мудрый человек по-настоящему счастлив. Счастье так же невозможно для ума, отвлеченного страстями, как и для города, разделенного враждующими группировками. Ужас смерти преследует виновного негодяя, "который слишком поздно обнаруживает, что напрасно посвятил себя деньгам, власти или славе". Но жизнь мудреца - это чистое счастье. Радуюсь с чистой совестью, "он с благодарностью вспоминает прошлое, наслаждается благами настоящего и пренебрегает будущим". Таким образом, мораль, которую следует извлечь, заключается в том, что Гораций (сам, как он выражается, "один из потомков Эпикура") внушает своей прекрасной подруге Левконе:

- Процеди свое вино и докажи свою мудрость; жизнь коротка; должна ли надежда быть чем-то большим?

В момент нашего разговора время зависти ускользнуло.

Пользуйся настоящим, доверяя завтрашнему дню как можно меньше".

Переходя ко второй книге трактата, мы слышим защитника контрдокументации. Зачем, восклицает Стоик, вносить Удовольствие в советы о Добродетели? Зачем отстаивать теорию, столь опасную на практике? Ваш эпикурейец вскоре превращается в эпикуреца, и появляется

класс людей, которые никогда не видели восхода или захода солнца, которые тратят состояния на поваров и парфюмеров, на дорогую посуду и великолепные комнаты, и рыщут по морю и суше в поисках деликатесов для своих пиршеств. Эпикур предоставляет своим ученикам опасную свободу действий в их выборе. В роскоши нет вреда (говорит он нам) при условии, что она свободна от чрезмерных желаний. Но кто должен установить предел таким расплывчатым уступкам?

Более того, он низводит людей до уровня грубых созданий. По его мнению, нет ничего достойного восхищения за пределами этого удовольствия — ни ощущений, ни эмоций ума, ни здоровья тела. И что же это за удовольствие, которому он придает такое большое значение? Как недолговечно это длится! как постыдно, когда мы вспоминаем об этом впоследствии! Но даже обычные чувства людей осуждают столь эгоистичную доктрину. Мы естественным образом склонны отстаивать правду и ненавидеть обман, восхищаться Регулусом в его пытках и презирать бесславную легкость жизни. А затем следует отрывок, который перекликается с волнующими строками Скотта:

"Трубите, трубите в рог, наполняйте флейту!
Всему чувственному миру провозгласите,
Один насыщенный час великолепной жизни
Стоит века без имени".

Тогда (заключает Стоик) не берите в рот хороших слов и не разглагольствуйте перед аплодирующими гражданами о чести, долге и так далее, в то время как вы превращаете свою личную жизнь в простой эгоистичный расчет целесообразности. Мы, несомненно, были рождены для более благородных целей, чем эта, и никто, достойный называться мужчиной, не подпишется под доктринами, которые уничтожают всякую честь и всякое рыцарство. Герои древности завоевывали свое бессмертие не тем, что взвешивали на весах удовольствия и страдания, а тем, что расточали свою жизнь, делая все и терпя все ради своих собратьев.

Вступительная сцена в третьей книге столь же живая и драматичная, как (что, без сомнения, было образцом для писателя) вступление к платоновскому диалогу. Цицерон вышел из своей тускуланской виллы, чтобы позаимствовать несколько рукописей из хорошо укомплектованной библиотеки своего юного друга Лукулла [1] — юноши, чьи высокие надежды, к сожалению, оборвались, поскольку он был убит при Филиппах, когда ему было не более двадцати трех. Там, "объедаясь книгами", Цицерон находит Марка Катона — Стоика из стоиков, — который высокопарно излагает принципы своей секты.

[Сноска 1: см. стр. 43.]

Честь он объявляет правилом, а "жизнь в соответствии с природой" - целью существования человека. И зло и несправедливость на самом деле более противоречат этой природе, чем смерть, или бедность, или телесные страдания, или любое другое внешнее зло. [1] Стоики и перипатетики согласны, по крайней мере, в одном пункте — что телесные удовольствия меркнут перед великолепием добродетели, и что сравнивать их - все равно что держать свечу против солнечного света или бросать каплю морской соли на волны океана. Ваш эпикурейец хотел бы, чтобы каждый человек жил в эгоистичной изоляции, поглощенный своими личными удовольствиями и занятиями. Мы, с другой стороны, утверждаем, что "Божественное

Провидение создало мир общим городом для людей и богов", а каждого из нас - частью этой огромной социальной системы. И таким образом, у каждого человека есть свой удел и место в жизни, и он должен руководствоваться золотыми правилами древних времен — "Повинуйся Богу; познай самого себя; избегай излишеств". Затем, приходя в восторг, философ заключает: "Кто не может не восхищаться невероятной красотой такой системы морали? Какой персонаж в истории или художественной литературе может быть величественнее или последовательнее, чем "мудрец" стоиков? Все богатства и слава мира принадлежат ему, ибо только он может правильно распорядиться всеми вещами. Он "свободен", хотя и закован в цепи; "богат", хотя и пребывает в бедности; "прекрасен", ибо ум прекраснее тела; "царь", ибо, в отличие от тиранов мира, он сам себе хозяин; "счастлив", ибо не нуждается в предупреждении Солона "ждать до конца", поскольку добродетельно прожитая жизнь - это вечное счастье".

[Примечание 1: Итак, епископ Батлер в предисловии к своим проповедям о "Природе человека" говорит, что они были "предназначены для объяснения того, что подразумевается под природой человека, когда говорится, что добродетель состоит в следовании, а порок - в отклонении от нее".]

В четвертой книге сам Цицерон продолжает отстаивать мудрость древних — старую академическую школу Сократа и его учеников — в противовес тому, что он считает новшествами стоицизма. Все, что говорили стоики, уже сто раз было сказано Платоном и Аристотелем, но более благородным языком. Они просто "выковыривают шипы" и "обнажают кости" предыдущих систем, используя новомодные термины и туманные аргументы с "тщеславным парадом". Их прекрасные рассуждения о гражданах мира и идеальном мудреце - скорее поэзия, чем философия. Они справедливо связывают счастье с добродетелью, а добродетель с мудростью; но то же самое делал Аристотель за несколько столетий до них.

Но их великая вина (говорит Цицерон) заключается в том, что они игнорируют практическую сторону жизни. Граница, которую они проводят между "мудрым" и "глупым", настолько широка, что они отказали бы самому Платону в обладании мудростью. Они не принимают во внимание тысячи обстоятельств, которые формируют наше счастье. Для духовного существа добродетель *может* быть главным благом; но в реальной жизни наше физическое наслаждение тесно связано с нашим ментальным наслаждением, а боль - один из тех суровых фактов, перед которыми бессильны все теории. Опять же, из-за своей любви к парадоксам они сводят все преступления к одному и тому же мертвому уровню. В их глазах бить раба так же нечестиво, как бить родителя: потому что, как они говорят, "ничто не может быть *более* добродетельнее добродетели, ничто не может быть *более* порочнее порока". И, наконец, это упрямство во мнениях влияет на их личный характер. Они слишком часто вырождаются в строгих критиков и ожесточенных приверженцев и заходят слишком далеко, чтобы изгнать из нашей среды любовь, дружбу, благодарность и все справедливые гуманитарные аспекты жизни.

Пятая книга переносит нас примерно на двадцать лет назад, когда мы снова находим Цицерона в Афинах, совершающего послеобеденную прогулку среди пустынных рощ Академии. С ним его брат Квинт, двоюродный брат Луций и его друзья Пизон и Аттик. Это место с его историческими ассоциациями неудержимо возвращает их мысли к тем выдающимся личностям, которые когда-то сделали это место своим. Среди этих деревьев прогуливался сам Платон; под сенью этого крыльца Зенон читал лекции своим ученикам; [1] вон там Квинт указывает на "белую вершину Колона", описанную Софоклом в "этих сладчайших строках"; в то время как на горизонте

блестели волны Фалерической гавани, которую Демосфен, великий прототип самого Цицерона, перекричал громом своей декламации. Действительно, воспоминания о прошлом, вызванные гением этого места, столь бесчисленны, что (как замечает один из друзей) "куда бы мы ни ступали, мы наступаем на какую-то историю". Затем Пизон, выступая по просьбе Цицерона, умоляет своих друзей обратиться от мыслителей-дегенератов их собственного времени к тем гигантам философии, из трудов которых могут быть почерпнуты все либеральные знания, вся история и вся элегантность языка. Прежде всего, им следует обратиться к лидеру перипатетиков Аристотелю, который, казалось (как и лорд Бэкон вслед за ним), считал все знания своей уделом. Из них, если ни из какого другого источника, мы можем узнать секрет счастливой жизни. Но сначала мы должны решить, в чем заключается это "главное благо" — цель и объект наших усилий, — и не позволять каждому порыву доктрины носиться туда-сюда, как кораблям без рулевого.

[Примечание 1: Стойки получили свое название от "стоа", или портика в Академии, где они сидели на лекциях, а перипатетики (школа Аристотеля) - от небольшой кучки слушателей, которые следовали за своим учителем, когда он шел. Школа Эпикура была известна как философы "Сада" по месту, где он преподавал. "Старая академия" была учениками Платона; "Новая академия" (к догматам которой склонялся Цицерон) возродила великий принцип Сократа — ничего не утверждать.]

Если Эпикур ошибался в определении Счастья

"В телесном удовольствии и в беззаботной непринужденности",

не менее неправы те, кто говорит, что "честь" требует добавления к ней удовольствия, поскольку они таким образом делают саму честь бесчестной. И опять же, говорить вместе с другими, что счастье - это спокойствие ума, значит просто напрашиваться на вопрос.

Отбрасывая, таким образом, все подобные теории в сторону, мы подводим аргумент к практическому вопросу. Самосохранение - первый великий принцип природы; и так сильна эта инстинктивная любовь к жизни как у людей, так и у животных, что мы видим, как даже железносердечные стойки сжимаются от настоящих мук добровольной смерти. Тогда возникает вопрос, что собой представляет эта природа, которая так драгоценна для каждого из нас? Очевидно, что она состоит из тела и ума, каждый из которых обладает множеством собственных добродетелей; но как ум должен управлять телом, так и разум, как доминирующая способность, должен управлять умом. Сама по себе добродетель - это всего лишь "совершенство этого разума", и, называйте это как хотите, гений или интеллект - это нечто божественное.

Более того, в человеке наблюдается постепенный прогресс разума, растущий вместе с его ростом, пока не достигнет совершенства. Даже в младенце есть "как бы искры добродетели" — полуосознанные принципы любви и благодарности; и эти зародыши приносят плоды по мере того, как ребенок развивается в мужчину. У нас также есть инстинкт, который влечет нас к поиску мудрости; таково истинное значение голосов сирен в "Одиссее", говорит философ, цитируя поэта всех времен:

"Поверни свой быстрый киль и послушай наш рассказ;

С тех пор пилигрим никогда не бывал в этих краях,
Но слышал наш сладостный голос перед отплытием,

И в своей радости шел дальше, с более глубоким умом". [1]

Они предлагают мудрость, а не удовольствие. Вот почему люди посвящают свои дни и ночи литературе, не думая о какой-либо выгоде, которую она может извлечь из этого; и философы расписывают безмятежные прелести созерцательной жизни на островах блаженства.

[Сноска 1: Одиссея. xii. 185 (Уорсли).]

Опять же, наши умы никогда не могут успокоиться. "Желание действовать растет вместе с нами"; и в каком-либо действии, будь то политика или наука, жизнь (если это вообще должна быть жизнь) должна быть пройдена каждым из нас. Даже игрок должен играть в кости, а человек удовольствий искать волнения в обществе. Но в настоящей жизни, полной действия, по-прежнему главным принципом должна быть честь.

Такова, вкратце, защита Пизоном (или, скорее, Цицероном) старых мастеров философии. Прежде чем они покинут это место, Цицерон делает прощальный выстрел по парадоксу стоиков о том, что "мудрый человек" всегда счастлив. Как. он уместно спрашивает: может ли человек в болезни и бедности, слепой или бездетный, в изгнании или под пытками называться счастливым, если не считать чудовищного искажения языка? [1]

[Примечание 1: В небольшом трактате под названием "Парадоксы" Цицерон обсуждает шесть из этих схоластических придирок стоиков.]

Здесь диалог несколько резко обрывается; и Цицерон не высказывает собственного суждения, но оставляет главный вопрос почти таким же запутанным, как и в начале дискуссии. Но из двух антагонистических теорий он склоняется скорее к стоической, чем к эпикурейской. Самопожертвование и честь, по его мнению, представляют собой более высокий идеал, чем удовольствие или целесообразность.

II. "АКАДЕМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ".

До нас дошли фрагменты двух изданий этого труда; ибо почти до того, как первый экземпляр попал в руки его друга Аттика, которому он был отправлен, Цицерон переписал весь текст в увеличенном масштабе. Первая книга (в том виде, в каком она у нас есть сейчас) посвящена Варрону, благородному покровителю искусства и литературы. На его вилле в Кумах были просторные портики и сады, а также библиотека с галереями и кабинетами, открытая для всех желающих. Здесь, на террасе с видом на море, Цицерон, Атик и сам Варрон проводят долгий день, обсуждая относительные достоинства старой и новой академий; отсюда и название работы. Варрон занимает львиную долю первого диалога и показывает, как из "обширного и разнообразного гения Платона" как академики, так и перипатетики черпали всю свою философию, независимо от того, касалась ли она морали, природы или логики. На стоицизм обращают мимолетное внимание, как и на то, что Варрон считает ересью Теофраста, который лишает добродетель всей ее красоты, отрицая, что от нее зависит счастье.

Вторая книга посвящена другому знаменитому имени, Лукуллу старшему, недавно умершему - наполовину государственному деятелю, наполовину дилетанту, "обладавшему почти такой же божественной памятью на факты", - с некоторой завистью говорит Цицерон, - "какой Гортензий обладал на слова". На этот раз философский диалог происходит на его вилле недалеко от

Тускулума, среди пейзажа, возможно, даже сейчас самого прекрасного из всех итальянских пейзажей. Лукулл осуждает скептицизм Новой Академии — этих реакционеров, выступающих против догматизма прошлых времен, которые не верят самому своему зрению. Если (говорит он) мы отвергнем свидетельство чувств, у нас не останется ни тела, ни истины, ни аргументов, ни чего-либо определенного. Эти вечные сомневающиеся разрушают все основы нашей веры.

Цицерон изобретательно защищает этот скептицизм, который на самом деле был склонностью его собственного ума. В конце концов, чего стоит наше зрение? Кажется, что корабль, плывущий вон там через залив, движется, но для моряков это берег, который исчезает из виду. Даже солнце, "которое, по утверждению математиков, в восемнадцать раз больше земли, выглядит всего в фут в диаметре". И как обстоит дело с этими вещами, так обстоит дело и со всеми знаниями. Поистине смелым должен быть тот человек, который может определить точку, в которой вера переходит в уверенность. Даже "прекрасное безумие" поэта, его образы богов и героев кажутся ему самому и его слушателям такими же живыми, как если бы он действительно видел их:

"Посмотрите, как Аполлон, светловолосый бог,
натягивает свой золотой лук,
а слева прекрасная Диана машет своим факелом".

Нет, мы ни в чем не уверены; и мы счастливы, если, подобно Сократу, знаем только это — что мы ничего не знаем. Затем, словно по иронии судьбы или, возможно, отчасти под влиянием любви адвоката аргументировать дело обоими способами, Цицерон разрушает тот грандиозный аргумент о замысле, который он так тщательно выстраивает в других местах [1], и рассуждает на самом языке материализма— "Ты утверждаешь, что вся вселенная не могла бы быть так искусно создана без некой божественной мудрости, величие которой ты прослеживаешь даже до совершенства пчел и муравьев. Почему же тогда Божество, когда оно создавало все ради человека, создало такое разнообразие (например) ядовитых рептилий? Ваша божественная душа - фикция; лучше представить, что творение является результатом законов природы, и таким образом освободить Божество от большой тяжелой работы, а меня - от страха; ибо кто из нас, думая, что он объект божественной заботы, может не испытывать благоговейный трепет перед божественной силой днем и ночью? Но мы не понимаем даже наших собственных тел; как же тогда мы можем обладать таким пронзительным зрением, чтобы проникать в тайны неба и земли?"

[Сноска 1: см. стр. 168.]

Однако этот трактат представляет собой всего лишь разочаровывающий фрагмент, и аргументация в нем неполная.

III. "ТУСКУЛАНСКИЕ СПОРЫ".

Местом действия этого диалога является вилла Цицерона в Тускуле. Там, в своей длинной галерее, он прогуливается и обсуждает со своими друзьями острые вопросы морали. Была ли смерть злом? Была ли душа бессмертной? Как человек может лучше всего переносить боль и другие жизненные невзгоды? Была ли добродетель гарантией счастья?

Тогда, как и сейчас, смерть была великой проблемой человечества — "умереть и отправиться неизвестно куда". Старая вера в Элизиум и Тартар угасла; как смело заявляет сам Цицерон в другом месте, подобные вещи перестали быть даже бабушкиными баснями. Либо смерть приносила абсолютную бессознательность, либо душа воспаряла в космос. "*Lex non poena mors*" — "Смерть - это закон, а не наказание", — гласила древняя поговорка. Это было, так сказать, окончание банкета или опускание занавеса. "Пока мы есть, смерти нет; когда смерть пришла, нас нет".

Цицерон приводит свидетельства прошлых эпох, чтобы доказать, что смерть - это не простое уничтожение. Человек не может погибнуть полностью. Герои обожествляются, а души умерших возвращаются к нам в ночных видениях. Так или иначе (говорит он), в наших умах запечатлевается определенное предзнаменование будущих эпох; и поэтому мы сажаем, чтобы наши дети могли пожинать; мы трудимся, чтобы другие могли присоединиться к нашим трудам; и именно эта жизнь после смерти, желание жить в устах людей вечно, вдохновляет патриота и мученика. Слава для римлян, даже в большей степени, чем для нас, была "последней слабостью благородных умов". В особой степени это было так для Цицерона. Он утверждает, что инстинктивное чувство бессмертия сильно внутри нас; и поскольку, по словам английского поэта,

"Наше рождение - всего лишь сон и забвение",

так же и в смерти, сказал римлянин, хотя и другими словами:

"Наши души видят то бессмертное море
, Которое привело нас сюда".

Тогда не верьте, говорит Цицерон, этим бабушкиным сказкам, этим поэтическим легендам, ужасам материального ада, радостям чувственного рая. Скорее придерживайтесь мнения Платона о том, что душа - это вечный принцип жизни, у которого нет ни начала, ни конца существования; ибо, если бы это было не так, небо и земля были бы перевернуты, и вся природа предстала бы взору. "Люди говорят, что они не могут постичь, чем может быть душа, отличная от тела. Как будто, в самом деле, они могли понять, что это такое, когда оно находится в теле, — его форму, его величину или его положение там.... Для меня, когда я размышляю о природе души, гораздо труднее и неяснее составить представление о том, чем является душа, находясь в теле, — в жилище, где она кажется такой неуютной, — чем о том, какой она будет, когда вырвется в свободную атмосферу небес, которая кажется ее естественной обителью". [1] И как поэт кажется нам вдохновенным, как дары памяти и красноречия кажутся божественными, так и сама душа, в своей простой сущности, является богом, обитающим в груди каждого из нас. Какой еще может быть эта сила, которая позволяет нам вспоминать прошлое, предвидеть будущее, понимать настоящее?

[Сноска 1: I. с. 22.]

Далее следует отрывок о аргументе из "замысла", который предвосхищает прекрасное высказывание Вольтера: "Ты никогда не существуешь, иль ты искусен в изобретательстве; почему природа кричит, чтобы она существовала". "Небеса, - говорит даже языческий философ, - возвещают славу Божью". Взгляните на солнце и звезды; взгляните на смену времен года и смену дня и ночи; взгляните еще раз на землю, приносящую свои плоды для использования

людьми; на множество крупного рогатого скота; и на самого человека, созданного как бы для того, чтобы созерцать небеса и богов и поклоняться им. Смотрите на все это и не сомневайтесь, что есть некое Существо, хотя вы его и не видите, которое создало мир и правит им.

"Поэтому подражайте концу Сократа; который, держа в руках роковую чашу, говорил со спокойствием человека, не вынужденного умирать, но как бы возносящегося на небеса; ибо он думал, что души людей, покидая тело, идут разными дорогами; те, кто осквернен пороком и нечистой жизнью, идут дорогой, отличной от той, которая ведет к собранию богов; в то время как те, кто сохранил себя в чистоте и на земле взял за образец божественную жизнь, легко возвращаются к тем существам, откуда они пришли". Или поучитесь у лебедей, которые, обладая пророческим инстинктом, покидают этот мир с радостью и пением. И все же не предвосхищайте момент смерти, "ибо Божество запрещает нам уходить отсюда без его призыва; но, по уважительной причине (как у Сократа и Катона), мы с радостью должны обменять нашу тьму на этот свет и, подобно людям, не выходящим из тюрьмы, но освобожденным законом, с радостью оставить наши цепи, как освобожденные Богом".

Мы должны здесь помнить, что отношение этих древних к самоубийству сильно отличалось от нашего собственного. Не существовало четкого представления о святости жизни; семья самоубийцы не подверглась общественному осуждению и, как следствие, страданиям. Философы-стоики и эпикурейцы одинаково считали его законным средством против мук болезни, старческого слабоумия или капризов тирана. Они утверждали, что каждый человек может сам выбрать свой маршрут в последнем великом путешествии и спокойно спать, когда его утомит судорожная лихорадка жизни. Дверь всегда была открыта (сказал Эпиктет), когда пьеса надоедала чувствам. Вы должны покинуть сцену с достоинством и не осушать флягу до дна. Правда, некоторые философы протестовали против этого как простого средства трусости, позволяющего избежать боли, и как невыполнения наших обязанностей добропорядочных граждан. Цицерон в одной из своих последних работ снова с одобрением цитирует мнение Пифагора о том, что "ни один человек не должен покидать свой жизненный пост без приказа Великого Полководца". Но в Риме самоубийство было прославлено длинным списком знаменитых имен, и протест был напрасен.

Но зачем, продолжает Цицерон, зачем усугублять жизненные невзгоды, размышляя о смерти? Доставляет ли жизнь кому-либо из нас такое несомненное удовольствие, даже пока она длится? Кто из нас может сказать, лишен ли он добра или зла? Как наше рождение - это всего лишь "сон и забвение", так и наша смерть может быть всего лишь вторым сном, таким же продолжительным, как сон Эндимиона. Зачем же тогда называть это несчастьем, даже если мы умираем раньше положенного срока? Природа одолжила нам жизнь, не назначив день выплаты; и неопределенность является одним из условий ее сохранения. Сравните нашу самую долгую жизнь с вечностью, и она окажется столь же недолгой, как у тех эфемерных насекомых, чья жизнь измеряется летним днем и "которые с заходом солнца достигают преклонного возраста".

Давайте же тогда основывать наше счастье на силе духа, на презрении к земным удовольствиям и на строгом соблюдении добродетели. Давайте вспомним последние благородные слова Сократа, обращенные к его судьям. "Смерть, - сказал он, - на которую вы меня приговариваете, я считаю скорее приобретением, чем потерей. Либо этосон без сновидений, который не знает

пробуждения, либо он переносит меня туда, где я могу беседовать с духами знаменитых умерших. Я иду к смерти, *ты* - к жизни; но кто из нас идет лучшим путем, одному Богу известно".

Таким образом, ни один человек, прошедший путь совершенной добродетели, не умирает слишком рано; ибо слава следует, как тень, за такой жизнью. Поэтому приветствуйте смерть как благословенное избавление от зла, посланное по особой милости богов, которые таким образом благополучно переносят нас через море бед в вечную гавань.

Вторая тема, которую обсуждают Цицерон и его друзья, - это терпимость к боли. Является ли это чистым злом? Может ли что-нибудь утешить страдальца? Цицерон сразу же осуждает софистику Эпикура. Мудрый человек не может притворяться равнодушным к боли; достаточно того, что он переносит ее мужественно, поскольку, вне всякого сомнения, она острая, горькая и ее трудно переносить. И что же это за мужество? Отчасти возбуждение, отчасти порыв чести или стыда, отчасти привычка, которая закаляет выносливость гладиатора. Поэтому сохраняйте — таков вывод — строгую сдержанность в отношении женских элементов вашей души и научитесь не только презирать приступы боли, но и

"Пращи и стрелы возмутительной удачи".

От физических страданий обсуждение естественным образом переходит к душевным. От горя, так же как и от боли, он прописывает стоическое средство — *aequanimitas*- "спокойную безмятежность ума". Мудрый человек, всегда безмятежный и собранный, не подвержен ни боли, ни печали, ни страху, ни желанию. Его в равной степени не беспокоят ни злоба врагов, ни непостоянство судьбы. Но какое утешение мы можем принести, чтобы облегчить боль эпикурейца? "Поднесите букет к его ноздрям — сожгите перед ним благовония — увенчайте его розами и шиповником"! Но духи и гирлянды мало что могут сделать в таком случае; удовольствия могут отвлечь, но вряд ли утешат.

Опять же, Киренаики приносят в лучшем случае комфорт Иова. Ни один человек не будет легче переносить свои несчастья, думая о том, что они неизбежны, что другие страдали до него, что боль - неотъемлемая часть болезней, наследниками которых является плоть. Зачем вообще горевать? Зачем подпитывать свое несчастье, заикливаясь на нем? Скорее окунитесь в активную жизнь и забудьте об этом, помня, что чрезмерные сетования по поводу тривиальных происшествий человечества одинаково недостойны мужчины. И как это бывает с горем, так и с завистью, похотью, гневом и теми другими "возмущениями ума", которые стоик Зенон справедливо называет "противными разуму и природе". От таких тревог свободен только мудрый человек.

В пятой и последней книге обсуждается важный вопрос: достаточно ли добродетели самой по себе, чтобы сделать жизнь счастливой? Смелый вывод заключается в том, что ее достаточно. Цицерон не довольствуется робкими оговорками, принятыми школой перипатетиков, которые то говорят, что внешние преимущества и мирское процветание - ничто, а затем снова признают, что, хотя человек может быть счастлив без них, он счастливее с ними, что, в конце концов, делает настоящее счастье несовершенным. Мужчины различаются по своим взглядам на жизнь. Как на великих Олимпийских играх толпу привлекает жажда наживы, кого-то корона дикой оливы, кого-то просто зрелище; так и в жизненной гонке мы все рабы какой-то господствующей идеи, это может быть слава, или деньги, или мудрость. Но счастливыми могут быть признаны только те, чей разум подобен некоему спокойному морю — "не встревоженный

страхами, не опустошенный горестями, не воспламеняемый похотями, не ослабленный расслабляющими удовольствиями, — и такую безмятежность может обеспечить только добродетель".

Этими "Диспутами" всегда восхищались. Но их популярность возросла во времена, когда греческие оригиналы Цицерона были менее читаемы или поняты. Эразм довел свое восхищение этим трактатом до энтузиазма. "Я не сомневаюсь, - говорит он, - что разум, из которого исходило это учение, был в какой-то степени вдохновлен божественностью".

IV. ТРАКТАТ "О МОРАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЯХ".

Трактат "De Officiis", известный как "Служебные обязанности" Цицерона, к которому мы переходим далее, адресован автором своему сыну, учившемуся в Афинах у Кратиппа; возможно, в подражание Аристотелю, который написал свою этику своему сыну Никомаху. Это трактат об обязанностях джентльмена — "самый благородный подарок", по словам современного писателя, "когда-либо сделанный родителями ребенку". [1] Написанное в гораздо более высоком тоне, чем письма лорда Честерфилда, хотя и затрагивающее ту же тему, оно предлагает множество вопросов и отвечает на них, которые постоянно возникают как у современного христианина, так и у древнего философа. "Что делает действие правильным или неправильным? Что такое долг? Что такое целесообразность? Как мне научиться выбирать между своими принципами и своими интересами? И, наконец (казуистический момент, который иногда должен смущать самую строгую совесть), из двух "честных вещей", [2] какая наиболее верна?"

[Сноска 1: Келсалл.]

[Примечание 2: английские "Honesty" и "Честь" в равной степени не передают всей силы латинского *honestus*. Это слово выражает прогресс мысли от привлекательности и изящества личности к благородному и грациозному характеру — все работы которого выполняются честно и с почестями.]

Ключевой нотой его рассуждений на протяжении всего времени является Честь; и это слово, кажется, несет в себе ту магическую силу, которую Берк приписывал рыцарству — "неискупленную благодать жизни — кормилицу героических чувств и мужественной предприимчивости". *Благородство обязывает*, — и нет состояния жизни, говорит Цицерон, без его обязательств. В их должном поведении заключается все благородство характера, а в их пренебрежении - весь позор. Не должно быть эгоистичной преданности частным интересам. Мы рождены не только для себя, но и для наших сородичей и отечества. У нас есть обязательства не только перед теми, кто принес пользу, но и перед теми, кто причинил нам зло. Мы должны воздавать всем должное; а справедливости заслуживают даже самые низкие представители человечества: кто, например (говорит он с жесткостью, которая задевает наши лучшие чувства), может быть ниже раба? Честь - это та "неискупленная милость", которая придает блеск каждому поступку. В обществе она порождает вежливость манер; в бизнесе, под видом правды, она создает общественный кредит. Опять же, как равенство, оно сглаживает суровые черты закона. На войне оно порождает ту умеренность и добросовестность между противоборствующими армиями, которые являются самой надежной основой прочного мира. Таким образом, в чести сосредоточены элементы всех добродетелей — мудрости и справедливости, стойкости и воздержанности; и "если бы", - говорит он, воспроизводя

благородные слова Платона, примененные им к Мудрости, - "эту "Честь" можно было бы увидеть во всей ее красоте глазами смертных, весь мир влюбился бы в нее".

Таков общий дух этого трактата, на этих страницах можно дать лишь самый краткий очерк.

Цицерон основывает честь на присущем нам совершенстве природы, отдавая такую же благородную дань уважения человечеству, как Кант несколько столетий спустя: "На земле нет ничего великого, кроме человека; в человеке нет ничего великого, кроме разума". Истина - это закон нашей природы. Человек всего лишь "ниже ангелов"; и ему принадлежат прерогативы, которые отличают его от грубого творения, — способности разума и проницательности, чувства красоты и любви к закону и порядку. И из этого возникает то чувство сопричастности, которое в каком—то смысле "роднит весь мир" — в духе знаменитой строки Теренция, которую замечает Цицерон (сопровождаемой аплодисментами при ее произнесении, как говорит нам Августин, одобрительными возгласами всей публики в театре):

"Homo sum—humani nihil a me alienum puto:" [1]

ибо (продолжает он) "все люди по своей природе любят друг друга и желают общения словами и действиями". Отсюда возникают семейные привязанности, дружба и социальные связи; отсюда также та всеобщая любовь к объединению, которая составляет поразительную черту нынешнего века, приводящую к клубам, профсоюзам, компаниям и вообще к тому, что м-р Карлайл называет "роем".

[Примечание 1: "Я мужчина — я считаю, что ничто из того, что касается человечества, не может быть для меня безразличным".]

После истины справедливость является великим долгом человечества. Цицерон сразу же осуждает "коммунизм" в вопросах собственности. Древний незапамятный захват, завоевание или договор могут давать название; но "ни один человек не может сказать, что у него есть что-то свое по праву природы". Несправедливость проистекает из алчности или честолюбия, жажды богатства или империи и тем более опасна, что проявляется у более возвышенных умов, вызывая разрыв всех уз и обязательств. И здесь он пользуется случаем, чтобы привести пример "этой последней, самой бесстыдной попытки Цезаря сделать себя хозяином Рима".

Кроме того, существует несправедливость бездействия. Вы можете причинить вред своему соседу, видя, как его обижают, не вмешиваясь. Цицерон пользуется случаем, чтобы решительно протестовать против эгоистичной политики тех любителей легкости и покоя, которые, "из желания продвигать свои собственные интересы или же из-за грубого нрава, заявляют, что они не лезут ни в чьи дела, кроме своих собственных, чтобы казаться людьми строгой порядочности и никому не причинять вреда", и таким образом уклоняются от участия в "товариществе жизни". У него было бы не больше терпения к нашей современной доктрине невмешательства и нейтралитета в отношении наций, чем в отношении людей. Такое поведение возникает (говорит он) из ложной логики, с помощью которой люди обманывают свою совесть, утверждая обратное, что лучшей политикой является честность.

Следует помнить, что есть два способа, которыми один человек может причинить вред другому, — сила и обман; но поскольку лев более благородное существо, чем лиса, то открытое насилие кажется менее отвратительным, чем тайное злодейство. Ни один персонаж не вызывает такой справедливой ненависти, как

"Жулик в зерне,
Увенчанный ханжеской теорией".

У наций есть свои обязательства, так же как и у отдельных людей, и у войны есть свои законы, так же как и у мира. Борьба должна вестись в духе великодушия, а не истребления, когда "иногда кажется, что между двумя враждебными нациями стоит вопрос не о том, кто должен оставаться победителем, а о том, кто вообще должен оставаться нацией".

Немалая часть справедливости заключается в щедрости, и это тоже имеет свои обязанности. Важный вопрос: как, когда и кому мы должны отдавать? Можно быть щедрым за счет другого человека: можно ранить получателя несвоевременной щедростью; или разрушить свое состояние из-за открытых дверей и расточительного гостеприимства. Щедрость великого человека (как он говорит в другом месте) должна быть общим убежищем для нуждающихся. "Выкуп пленников и обогащение подлых людей - более благородная форма щедрости, чем предоставление диких зверей или шоу гладиаторов на потеху толпе". Благотворительность должна начинаться дома; ибо родственники и друзья занимают первое место в наших привязанностях; но круг наших добрых дел не должен сужаться кровными узами, сектой или партией, и "наша страна воспринимает нежность всех". Мы должны действовать в духе древнего закона — "Ты не должен удерживать человека от бегущего ручья или от зажигания его факела у твоего очага". Наша либеральность должна быть действительно либеральной, как та благотворительность, которую Джереми Тейлор описывает как "дружбу ко всему миру".

Другим составляющим принципом этой чести является мужество, или "величие души", которое (продолжает Цицерон) было хорошо определено стоиками как "добродетель, борющаяся за справедливость и честность"; и его самой благородной формой является великодушное презрение к обычным объектам честолюбия, не "из тщеславия или фантастического юмора, а из твердых принципов разума". Самая низкая и заурядная форма храбрости - это чисто животная добродетель бойцового петуха.

Но характер должен быть не только превосходным, он должен быть изящным. В жестах и поведении мужчины должны стремиться приобрести ту достойную грацию манер, "которая как бы придает блеск нашей жизни". Им следует избегать жеманства и эксцентричности; "нисколько не заботиться о том, что о нас думают люди, - это признак не столько гордости, сколько нескромности". Недостаток такта — высказывание и действие в неподходящее время и в неподходящем месте — вызывает в обществе такой же разлад, как фальшивая нота в музыке; а гармония характера имеет большее значение, чем гармония звуков. Есть изящество как в словах, так и в поведении: мы должны избегать неуместных шуток, "и не пересыпать нашу речь греческими цитатами". [1]

[Примечание 1: Это последнее предписание, которое Цицерон, должно быть, считал неприменимым к написанию писем, иначе он был бы отъявленным нарушителем своих собственных правил.]

На жизненном пути каждый должен следовать склонностям своего собственного гения, насколько это невинно —

"Честь и стыд не возникают ни при каких обстоятельствах;
Хорошо исполняй свою роль — в этом вся честь".

Нет ничего более трудного (говорит Цицерон), чем выбор профессии, поскольку "выбор обычно приходится делать, когда здравый смысл наиболее слаб". Некоторые идут по стопам своего отца, другие прокладывают новую линию самостоятельно; и (добавляет он, возможно, не без личной ссылки) обычно так обстоит дело с теми, кто родился от скупых родителей, которые намереваются проложить свой собственный путь в мире. Но *парвеню* из Арпина — "новый человек", как всегда любила называть его аристократическая зависть, — отнюдь не бесчувственен к истинным почестям предков. "Самое благородное наследство, - говорит он, — которое когда-либо мог оставить отец своему сыну, намного превосходящее наследство земель и домов, - это слава о его добродетелях и славных деяниях"; и самое печальное из всех зрелищ - это то, что благородный дом затаскивает в трясины какой-нибудь дегенеративный потомок, чтобы стать притчей во языцех среди населения, "о чем можно, - заключает он, - справедливо сказать, но слишком о многих в наше время".

Взгляд римлянина на сравнительное достоинство профессий интересен, потому что его предрассудки (если это предрассудки) так долго сохраняли свою силу среди нас, современных людей. Сборщики налогов и ростовщики сейчас так же непопулярны, как и всегда, причем последние вполне заслуженно. Нам говорят, что розничная торговля отвратительна, и "все механики по своей профессии подлые". Особенно те профессии, которые служат простому аппетиту или роскоши — мясники, торговцы рыбой и повара; парфюмеры, танцовщицы и тому подобное. Но медицина, архитектура, образование, сельское хозяйство и даже оптовый бизнес, особенно импорт и экспорт, - это профессии джентльмена. "Но если купец, довольный своей прибылью, покинет моря и из гавани ступит в земельное поместье, такой человек, по-видимому, справедливо заслуживает похвалы". Кажется, мы читаем приговор современному английскому обществу, вынесенный предвосхищением две тысячи лет назад.

Этот раздел заканчивается серьезным советом всем, что они должны применять свои принципы на практике. "Глубочайшее познание природы - всего лишь жалкое и несовершенное занятие", если оно не переходит в действие. Поскольку справедливость заключается не в абстрактной теории, а в поддержании общества среди людей, — поскольку "величие души само по себе, если оно изолировано от обязанностей социальной жизни, является всего лишь разновидностью неотесанной невежливости", — так и долг каждого гражданина - покинуть свое философское уединение в монастыре и занять свое место в общественной жизни, если этого требует время, "хотя бы он мог сосчитать звезды и измерить мир".

Тот же практический подход продолжен в следующей книге. В чем, в конце концов, заключаются настоящие интересы человека? какая линия поведения наилучшим образом продвинет достижение главной цели его жизни? Как правило, люди совершают роковую ошибку, полагая, что честь всегда должна вступать в противоречие с их интересами, в то время как на самом деле, как говорит Цицерон, "они лучше всего достигли бы своих целей не мошенничеством и закулисными сделками, а справедливостью и честностью". Правильное тождественно целесообразному. "Путь к благосклонности богов лежит через честные поступки; и после богов ничто так не способствует счастью людей, как сами люди". Именно труд и сотрудничество дали нам все блага, которыми мы обладаем.

Таким образом, поскольку мужчина является лучшим другом человека, а также его самым грозным врагом, важным вопросом для обсуждения является секрет влияния и популярности — искусство завоевывать расположение мужчин. Ибо управлять с помощью взяток или силы на самом деле вовсе не значит управлять; и никакое повиновение, основанное на страхе, не может быть длительным — "никакая сила власти не может долго противостоять потоку общественной ненависти". Авантюристы, которые грубо обходят закон (он снова думает о Цезаре), правят недолго; и "свобода, когда ее ненадолго заковали в цепи, кусается сильнее, когда ее отпускают на волю, чем если бы ее вообще никогда не заковывали". [1] Самым счастливым было то справедливое и умеренное правительство Рима в прежние времена, когда оно было "портом и убежищем для государей и народов в час их нужды". Для формирования того популярного характера, который оказывает справедливое влияние на других, необходимы три условия: мы должны завоевать любовь мужчин, мы должны заслужить их доверие и мы должны внушить им восхищение нашими способностями. Самый короткий и прямой путь к реальному влиянию — это тот, который рекомендует Сократ: "человек должен быть тем, за кого он хочет, чтобы люди принимали его". [2]

[Примечание 1: Любопытно отметить, что на протяжении всего этого аргумента Цицерон, сознательно или бессознательно, руководствуется принципом, согласно которому высшая жизнь - это политическая жизнь, и что высшая цель, которую человек может поставить перед собой, - это получение законными средствами влияния и авторитета среди своих сограждан.]

[Сноска 2:

"Будучи не меньше, а больше всех
Мягкостью, которой он казался".
Теннисон: "В память".]

Далее следуют некоторые принципы, которые показывают, насколько консервативной была политика нашего философа. Безопасность собственности, по его мнению, является безопасностью государства. Не должно быть никакой игры с имущественными правами, никакого неравного налогообложения, никаких попыток привести все к единому уровню, никакого списания долгов и перераспределения земли (он имеет в виду приманки, которые предлагал Катилине), никаких традиционных приемов завоевания благосклонности народа, которые имеют тенденцию разрушать то социальное согласие и сплоченность, которые составляют общее богатство. "По какой причине, - спрашивает он, - когда я куплю, построю, отремонтирую и потрачу много денег, придет другой и насладится плодами этого?"

И как мужчина должен заботиться об интересах общества, так и он должен быть сам по себе. Но Цицерон чувствует, что, опускаясь до подобных вопросов, он несколько теряет из виду свое достоинство моралиста. "Ты найдешь все это подробно обсужденным, - говорит он своему сыну, - в "Экономике Ксенофонта" - книге, которую я, когда был как раз в твоём возрасте, перевел с греческого на латынь". (Интересно, понял ли юный Маркус намек?) "А если вам нужны наставления в денежных вопросах, на Бирже есть джентльмены, которые научат вас гораздо лучше, чем философы".

Последняя книга начинается высказыванием Катона старшего, которым Цицерон очень восхищается, хотя он скромно говорит, что сам никогда не был в состоянии полностью осознать

это— "Я никогда не бываю менее праздным, чем когда я праздный, и никогда не бываю менее одиноким, чем когда я один". Цицерон всегда заявляет, что уединение - прекрасные вещи; обычно он в то же время ухитряется дать понять, как он это делает здесь, что его сердце принадлежит миру общественной жизни. Но, по крайней мере, это дает ему время писать. Он "написал больше за это короткое время, прошедшее после падения Содружества, чем за все годы, в течение которых оно существовало".

Здесь он решает вопрос: если кажется, что честь и интерес вступают в противоречие, что должно уступить? Или, скорее, она уже решена; если правильное всегда является целесообразным, то противодействие является кажущимся, а не реальным. Он ставит великое множество казуистических вопросов, но все это сводится к следующему: хороший человек сдерживает свою клятву, "хотя бы это мешало ему самому". Но это никогда не мешает ему, ибо нарушение его совести было бы величайшим препятствием из всех.

В этом трактате Цицерон больше, чем в любом другом своем философском труде, склоняется к учению стоиков. В других случаях он скорее искатель истины, чем сторонник системы. Это критический эклектизм "Новой академии" — дух, столь распространенный в наши дни, который борется с оковами догматизма. И при всем своем уважении к благородной стороне стоицизма, он полностью осознает его недостатки; хотя ему и не было дано увидеть, как вслед за ним увидел Мильтон, точку, в которой эта великая система действительно потерпела неудачу — "философскую гордыню", которая была основным грехом всех учеников школы, от Катона до Сенеки:

"Невежественные в отношении самих себя, а еще больше - в отношении Бога,

* * * * *

Они много говорят о душе, но все наперекосяк;
И сами в себе ищут добродетель, и себе
присваивают Всю славу, — Богу ничего не дают;
Скорее обвиняют Его под обычными именами,
Фортуны или Рок, как одно целое, безразлично совершенно
О смертных вещах". [1]

[Сноска 1: Вновь обретенный рай.]

И все же, несмотря на это, такие люди были солью земли в порочный век; и, как мы находим на более современных страницах истории, великие проповедники, обличающие нечестие в высших кругах, — Бурдалу и Массильон, изливающие свое красноречие в невнимательные уши Людовика XIV и его придворных, — Шерлок и Тиллотсон, декламирующие с кафедры с таким волнующим акцентом, что "даже ленивый Карл восторжен, чтобы послушать, а привередливый Бекингем забыл усмехнуться" [1]. точно так же мы видим, что эти "монахи язычества", как небезосновательно называли стоиков, в свое время протестовали против того эгоистичного распутства, которое быстро подрывало всякую мораль в Римской империи. Без сомнения (как заботливо сообщает нам мистер Леки), их высокие принципы не всегда соответствовали их практике (увы! чьи они?); Катон, возможно, жестоко обращался со своими рабами, Саллюстий, возможно, был жаден, а Сенеке не хватало личной храбрости. И все же это, несомненно, было что-то особенное - создать благородный идеал, хотя они, возможно, и не

достигли его сами, и на "этом отвратительном карнавале порока" сохранить себя, насколько это было возможно, незапятнанными от мира. Несомненно то, что ни одна другая древняя секта никогда не подходила так близко к свету откровения. Отрывки из Сенеки, Эпиктета, Марка Аврелия даже сейчас звучат как фрагменты богодухновенных писаний. Неизвестный Бог, которому они по невежеству поклонялись как Душе или Разуму Мира, является — вопреки критике Мильтона — началом и концом их философии. Давайте ненадолго прислушаемся к их словам. "Молитва должна быть только во благо". "Люди должны действовать в соответствии с духом, а не с буквой своей веры". "Хочешь ли ты умиловить богов? Будь добр: достаточно поклонялся им тот, кто подражал им". Именно из поэта-стоика Арата Святой Павел процитировал великую истину, которая была рациональным аргументом против идолопоклонства — "Ибо мы тоже Его отпрыски, и" (так завершается первоначальный отрывок) "только мы обладаем голосом, который является образом разума". Именно у другого поэта той же школы мы находим, пожалуй, самые благородные строки во всей латинской поэзии. Персий завершает свою сатиру на обычное лицемерие тех молитв и подношений богам, которые были всего лишь служением уст и рук, словам, которым английский перевод может придать смысл, но не красоту: "Нет, тогда давайте предложим богам то, чего развратные сыны великого Мессалы никогда не смогут принести на своих широких конях, — душу, в которой смешаны законы Бога и человека, — сердце, чистое до самых сокровенных глубин, — грудь, пропитанную благородным чувством чести. Позволь мне только принести это с собой к алтарю, и мне все равно, даже если моим подношением будет горсть кукурузы". Этими величественными словами, достойными предвестниками грядущего более чистого вероучения, мы можем попрощаться со стоиками, отметив, как основательно, даже в своем величественном эгоизме, они олицетворяли моральную силу нации, среди которой они процветали; нации, говорит современный проповедник, "чьи легендарные и исторические герои могли сунуть руку в пламя и наблюдать, как оно сгорает, не дрогнув нервами; или выйти из плена под честное слово, отговаривать своих соотечественников от заключения мира, а затем вернуться к пыткам и верной смерти; или посвятить себя торжественному самопожертвованию, как Деции". Мир должен склониться перед такими людьми, ибо бессознательно в этом была форма духа Креста - самоотречение, непобедимая верность долгу, самопожертвование ради других". [2]

[Сноска 1: Маколей.]

[Сноска 2: Ф.У. Робертсон, Проповеди, i. 218.]

До нас дошли фрагменты трех трактатов Цицерона по политической философии: 1. "О республике"; диалог о правительстве, основанный главным образом на "Республике" Платона; 2. "О законе"; дискуссия об абстрактном праве и о национальных системах законодательства; 3. "Гражданское право"; от последнего сохранилось лишь несколько фрагментов. Все его исторические труды погибли.

ГЛАВА XII.

РЕЛИГИЯ ЦИЦЕРОНА.

Трудно отделить религию Цицерона от его философии. И в том, и в другом он был скептиком, но в лучшем смысле этого слова. Его поиск истины был не насмешливым или недоверчивым, а благоговейным исследователем. Отдавая должное ему, мы должны помнить, что серьезно мыслящий человек в его время вряд ли мог занять более высокое положение, чем скептик.

Старый политеизм отмирал во всем, кроме названия, и не было ничего, что могло бы занять его место.

Его религиозные убеждения, насколько мы можем судить, были скорее негативными, чем позитивными. В умозрительном трактате "О природе богов", который он нам оставил, он исследует все современные верования, но оставляет свое собственное совершенно неопределенным.

Трактат, как и все остальное, представляет собой воображаемую беседу. Предполагается, что это произошло в доме Аврелия Котты, в то время Верховного понтифика, — должность, которая почти соответствовала должности министра религии. Другими ораторами являются Бальб, Веллей и сам Цицерон, который, однако, выступает скорее в роли модератора, чем спорщика. Споры между различными школами, как и в более строго философских диалогах, продолжаются до сих пор. Веллей сначала излагает доктрину своего учителя Эпикура; говоря о богах, говорит один из его оппонентов, с таким очевидным глубоким знанием дела, "как если бы он только что спустился прямо с небес". Все рассуждения предыдущих философов, которые он рассматривает одно за другим, являются, как он уверяет компанию, очевидными ошибками. Популярная мифология - это всего лишь набор басен. Платон и стоики, с их Душой мира и их всепроникающим Провидением, совершенно неправы; правы только ученики Эпикура. Боги существуют; это достаточно подтверждается всеобщей верой человечества во все века. Но то, что они должны быть трудолюбивыми существами, какими их сделали бы обычные системы теологии, — что они должны заниматься созданием миров, - явно абсурдно. Некоторые из этих аргументов остроумны. "Что должно побудить Божество выполнять функции эдила, освещать и украшать мир? Если это было сделано для того, чтобы обеспечить себе лучшее жилье, то до того времени он, должно быть, по собственному выбору жил в темноте подземелья. Если такие улучшения доставляли ему удовольствие, почему он предпочел так долго обходиться без них?"

Нет, боги — бессмертные и счастливые существа; и сами эти атрибуты подразумевают, что они должны быть полностью свободны от забот бизнеса - свободны от труда, как от боли и смерти. Они имеют человеческий облик, но эфирную и утонченную сущность, неспособную к нашим страстям или желаниям. Счастливые в своей совершенной мудрости и добродетели, они

"Сиди рядом с их нектаром, не заботясь о человечестве".

Котта— выступая от имени Новой Академии, оспаривает эти взгляды. Будь это твоими богами, Эпикур, с таким же успехом можно сказать, что богов вообще нет. Какое почтение, какую любовь или какой страх могут испытывать люди к существам, которые не желают их и не могут творить с ними добро или зло? Является ли праздность самой божественной жизнью? "Да ведь это настоящий рай для школьников; и все же школьники на каникулах занимаются играми". Более того, заключает он, то, что стоик Посидоний сказал о вашем учителе Эпикуре, верно — "Он верил, что богов не существует, и то, что он сказал об их природе, он сказал только для того, чтобы избежать народной ненависти". Он не мог поверить, что Божество имеет внешнюю форму человека, без какой-либо твердой сущности; что у него есть все члены человека, но нет силы использовать их; что он - призрачное прозрачное существо, которое не проявляет благосклонности и никому не приносит пользы, ни о чем не заботится и ничего не делает; это значит на словах признавать существование богов, но отрицать это фактически.

Веллей хвалит своего оппонента за его умные аргументы, но желает, чтобы Бальб изложил свою точку зрения по этому вопросу. Стоик соглашается и, наконец, продолжает доказывать (чего вообще не отрицал ни один из спорящих) существование какого-либо Божественного существа. Всеобщая вера, хорошо подтвержденные случаи их появления перед людьми и исполнения пророчеств и предзнаменований - все это свидетельства их существования. Он также много останавливается на аргументе замысла, которым так много пользуются современные теологи. Он подсказывает Пейли идею для его хорошо известной иллюстрации человека, который находит часы: "когда мы видим циферблат или водяные часы, мы верим, что время показано на них искусством, а не случайно". [1] Он приводит также иллюстрацию из поэта Аттия, которая благодаря поэтическому воображению с тех пор стала историческим эпизодом; пастухи, которые видят приближающийся корабль "Арго", принимают новое чудовище за живое существо, как мексиканцы относились к кораблям Кортеса. Гораздо больше, утверждает он, гармоничный порядок мира свидетельствует о внутреннем разуме. Но его вывод состоит в том, что Вселенная сама по себе является Божеством; или что Божество - это оживляющий Дух Вселенной; и что популярная мифология, которая дает одного бога Земле, одного - Морю, одного - Огню и так далее, на самом деле является искаженной версией этой истины. Сама форма вселенной — сфера - является наиболее совершенной из всех форм и поэтому подходит для воплощения Божественного.

[Сноска 1: De Nat. Deor. ii. 34. Nat. Пейли. Теол. гл. i.]

Затем Котта, который, хотя и является национальным священником по призванию, как понтифекс, принадлежит к той философской секте, которая ставит под сомнение свое вероучение, возобновляет свои возражения. Догматы стоиков удовлетворяют его не больше, чем догматы эпикурейцев. Он верит, что боги существуют; но, подходя к обсуждению как беспристрастный и философствующий наблюдатель, он находит предлагаемые доказательства их существования недостаточными. Но эта третья книга фрагментарна, и преимущество аргументации Котты нарушается значительными пробелами во всех рукописях. Существует любопытная традиция, согласно которой эти части были тщательно вырваны ранними христианами, потому что они могли оказаться слишком грозным оружием в руках неверующих. Котта повсюду заявляет, что выдвигает свои возражения только в надежде, что они могут быть опровергнуты; но все его рассуждения разрушительны для любой веры во всевластное Провидение. Он признается, что озадачен этой неразрешимой тайной — существованием Зла в мире, созданном и управляемом благодетельной Силой. Говорят, боги дали человеку разум, но человек злоупотребляет этим даром во зло. "В этом виноваты, - говорите вы, - люди, а не боги. Как будто врач должен жаловаться на вирулентность болезни или кормчий на ярость бури! Хотя это всего лишь смертные люди, даже им это показалось бы смешным. Кто бы попросил вашей помощи, ответим мы, если бы не возникли эти трудности? Не можем ли мы еще более решительно возразить в отношении богов? Вина, как вы говорите, кроется в пороках людей. Но ты должен был дать людям такую рациональную способность, которая исключила бы возможность подобных преступлений". Он видит, как и Давид, "нечестивых в процветании". Законы Небес высмеиваются, совершаются преступления, и "громы Олимпийского Юпитера умолкают". Он цитирует, как всегда было бы легко цитировать, примеры этого из всей истории: возможно, наиболее красноречивым и оригинальным является реплика Диагора, которого называли атеистом, когда ему показали в храме на Самофракии таблички с обетом (в том виде, в каком их сейчас можно увидеть в некоторых зарубежных церквях), поднесенные потерпевшими кораблекрушение моряками, которых спасли от утопления. "Смотри, ты, отрицающий

Провидение, посмотри, сколько людей было спасено молитвой к богам!" "Да", - был его ответ. "но где поминают тех, кто утонул?"

Диалог заканчивается без разрешения трудностей и без вывода по рассматриваемым вопросам. Цицерон, который является рассказчиком воображаемой конференции, высказывает свое мнение о том, что аргументы стоиков казались ему "более правдоподобными". Это был великий принцип школы, на который он больше всего влиял, что вероятность - это самое близкое приближение, которое человек может сделать к умоглядной истине. "Мы не принадлежим к числу тех, - говорит он, - кому кажется, что такой вещи, как истина, не существует; но мы говорим, что ко всем истинам прилагается некоторая ложь, которая имеет настолько сильное сходство с истиной, что в таких случаях нет определенного различия, которое могло бы определить наше суждение и согласие. Следствием этого является то, что существует много вероятных вещей; и хотя они не являются объектами действительного восприятия нашими органами чувств, все же они имеют такой грандиозный и славный аспект, что мудрый человек управляет своей жизнью таким образом". [1] Одному из наших самых способных и философствующих христианских писателей оставалось доказать, что в таких вопросах вероятность практически эквивалентна демонстрации. [2] Собственная форма скептицизма Цицерона в вопросах религии, возможно, очень близко выражена в поразительном анекдоте, который он вкладывает в этом диалоге в уста эпикурейца.

[Сноска 1: De Nat. Deor. i. 5.]

[Примечание 2: "Для нас вероятность - это путеводитель по жизни".—Вступление. к аналогии с Батлером.]

"Если вы спросите меня, что такое Божество или каковы его природа и атрибуты, я должен последовать примеру Симонида, который, когда тиран Гиерон задал ему тот же вопрос, попросил день на обдумывание. Когда на следующий день царь потребовал от него ответа, Симонид потребовал еще два дня; и когда он продолжал постоянно требовать вдвое больше времени, вместо того чтобы дать какой-либо ответ, Иеро в изумлении потребовал от него объяснения причины. "Потому что, - ответил он, - чем дольше я размышляю над этим вопросом, тем более неясным он кажется". [1]

[Сноска 1: De Nat. Deor. i. 22.]

Положение Цицерона как государственного деятеля, а также как члена Коллегии авгуров, без сомнения, препятствовало любому решительному выражению мнения с его стороны относительно форм народного богослужения и многих особенностей народных верований. В трактате, который он задумывал как своего рода продолжение этого Диалога о "Природе богов" — о "Гадании", — он излагает аргументы за и против народной веры в предзнаменования, предсказания, сны и подобные намеки на Божественную волю. [1] Он вкладывает защиту системы в уста своего брата Квинта и сам становится на деструктивную сторону аргументации; но мы не можем быть настолько уверены, было ли это сделано для того, чтобы изложить его собственные реальные взгляды на предмет. Ход аргументации, использованной обеими сторонами, скорее привел бы к выводу, что мнение писателя во многом совпадало с мнением Джонсона о реальности призраков — "Все аргументы против этого, но вся вера за это".

[Примечание 1: Существует третий трактат, "De Fato", по-видимому, являющийся продолжением серии, из которой до нас дошла лишь часть. Это обсуждение сложных вопросов Судьбы и Свободы воли.]

Что касается великих вопросов бессмертия души и состояния будущих наград и наказаний, то вполне возможно почерпнуть из сочинений Цицерона отрывки, выражающие совершенно противоречивые взгляды. Склонность его ума, как было достаточно показано, была склонна к сомнениям и еще больше к дискуссиям; и, возможно, его мнения не были столь уж непостоянны, как, по-видимому, показывают остатки его сочинений. В какое-то будущее состояние он, несомненно, должен был верить — то есть с такой верой, которую, по его мнению, допускал бы предмет исследования, — как в сильную вероятность. В дошедшем до нас умозрительном фрагменте, известном как "Сон Сципиона", мы, по-видимому, имеем кредо человека, а не рассуждения философа. Сципион Африканский старший является во сне младшему, носившему его имя (его внуку по усыновлению). Он показывает ему видение небес; велит ему слушать музыку сфер, которые, двигаясь в своем порядке, "посредством модуляции высоких и низких звуков", создают ту гармонию, которую люди в некоторых бедных случаях сводят к обозначениям. Он велит ему взглянуть вниз, на землю, ставшую всего лишь пятнышком вдалеке, и преподает урок бедности всякой простой земной славы. "Для всех тех, кто сохранил, помог или принес пользу своей стране, есть определенное место на небесах, где они будут счастливы, наслаждаясь вечной жизнью". Но "души тех, кто предался чувственным удовольствиям и сделал себя, так сказать, их слугами, кто по велению похоти, ожидающей удовольствий, нарушил законы богов и людей, — они, когда покидают тело, все еще порхают по земле и достигают этих обителей только после многих веков странствий". Мы можем заключить, что его кредо допускало Валгаллу для героя и патриота и длительный процесс искупления грехов.

Есть любопытный отрывок, сохранившийся у св. Августина из того сочинения Цицерона, которым он больше всего восхищался, — утерянного трактата о "Славе", — которое, кажется, показывает, что он был далек от материализма и считал тело своего рода чистилищем для души.

Ошибки и страдания человеческой жизни заставляют меня иногда думать, что те древние провидцы, или Толкователи тайн небес и советов Божественного разума, имели некоторое представление об истине, когда они говорили, что люди рождаются для того, чтобы понести наказание за некоторые грехи, совершенные в прошлой жизни; и что верна идея, которую мы находим у Аристотеля, что мы несем такое же наказание, как и они в древности, которые попали в руки этих этрусских бандитов и были преданы смерти с продуманной жестокостью; их живые тела были привязаны к мертвым телам. тела, лицом к лицу, в теснейшей возможной связи: так наши души соединяются с нашими телами, соединенные, как живые с мертвыми".

Но какой бы ни была теологическая сторона, если можно так выразиться, религии Цицерона, моральные афоризмы, которые мы тут и там встречаем в его произведениях, часто содержат учение, близкое к тону христианской этики. Слова Петрарки вряд ли можно назвать слишком резкими: "Иногда можно подумать, что это говорил не языческий философ, а христианский апостол". [1] Это лишь немногие из многих, которые можно было бы процитировать: "Всегда стремись к истине и поэтому считай, что смертен не ты, а только это твое тело, ибо ты не то, что демонстрирует эта твоя внешняя форма, но разум каждого человека, который и есть настоящий

человек, а не форма, которую можно обвести пальцем". [2] "Да, скорее, живы те, кто вырвался из уз своей плоти, как из тюрьмы". "Следуйте справедливости и долгу; такая жизнь - это путь на небеса и в то собрание тех, кто когда-то жил, а теперь, освободившись от тела, обитает в этом месте". Где, у любого другого языческого писателя, мы найдем такие благородные слова, как те, которые закрывают апостроф в "Тускуланцах"? — "Один единственный день, проведенный с пользой и в соответствии с твоими заповедями, было бы лучше избрать, чем бессмертие греха!" [3] Он обращается, это правда, к Философии; но его философия здесь немногим меньше, чем Мудрость Священного Писания: и духовное устремление такое же — только высказанное с большими трудностями — как у псалмопевца, когда он восклицает: "Один день при дворах твоих лучше, чем бессмертие греха". тысяча!" Мы можем принять или не принять взгляд Эразма на его вдохновение — или, скорее, вдохновение — это слово, которое имеет более одного определения, и это будет зависеть от того, какое определение мы примем; но мы вполне можем посочувствовать старому ученому, когда он говорит: "Я чувствую себя лучше, читая Цицерона".

[Footnote 1: "Interdum non Paganum philosophum, sed apostolum loqui putes".]

[Сноска 2: "Сон Сципиона".]

[Сноска 3: Tusc., v. 2.]

КОНЕЦ ЦИЦЕРОНА